

НОВОСТИ
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПАПАЛАГИ

«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

9285/16°



89/1
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

17.14 —

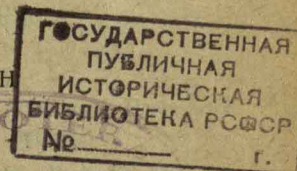
ПАПАЛАГИ

РЕЧИ ТИХООКЕАНСКОГО ВОЖДЯ
ТУЙАВИИ ИЗ ТИАВЕИ

Издай ЭРИХ ШЕУРМАН

Перевод Б. Л.

Инстит. В. А. С. Н.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ — МСМХХІІІ — МОСКВА

ПАПАЛАГИ

РЕЧИ ТИХООКЕАНСКОГО ВОЖДЯ
ТУЙАВИИ ИЗ ТИАВЕИ

Папалаги? — Что такое Папалаги?
Сами вы — Папалаги!

Посмотритесь же в это зеркало,
которое показывает вам тихоокеан-
ский вождь, изучивший Европу.

Петрооблит № 5302. Гиз. № 4766. Отпеч. 5.000 экз. Зак. № 568

Государственная типография им. Евгении Соколовой, Измайловский, 29.

ВВЕДЕНИЕ

«Папалаги» ¹⁾ — белый человек, господин. Так озаглавил издатель речи тихоокеанского вождя Туйавии из Тиавеи, — речи, которых тот, правда, еще не произносил, но записал, в виде наброска, на туземном языке, с коего они и переведены на немецкий.

В намерения Туйавии никогда не входило издание этих речей для Европы и, вообще, их печатание; они были задуманы исключительно для его полинезийских соплеменников. Если я, все же, без его ведома и, конечно, против его воли, передаю европейской читательской публике речи этого туземца, то это вытекает из моего убеждения, что и для нас, белых и просвещенных, ценно будет узнать, как рассматривают нас и нашу культуру глаза человека, еще тесно связанного с природой. Из этих глаз мы познаем самих себя с такой точки зрения, на которую мы уже никогда не сумеем стать. Если фанатикам цивилизации его взгляд на вещи может показаться наивным, даже ребяческим и, может быть, глупым, то более смиренных и благоразумных многие слова Туйавии заставят призадуматься и побудят к самокритике. Ибо мудрость его проистекает не из выучки, а из наивности.

¹⁾ Читай: Папалонги.

— Эти речи представляют ни более, ни менее, как призыв ко всем примитивным народам Тихого Океана — отмежеваться от просвещенных народов европейского материка. Туйавии, презиравший европейцев, жил в самой глубокой уверенности, что его туземные предки сделали величайшую ошибку, когда позволили осчастливить себя светом Европы. Подобно той девушке из Фогасы, которая с высокого утеса, махая веером, отгоняла первых белых миссионеров («Убирайтесь вы, зловредные демоны!»), видел и он в Европе того мрачного демона, то разрушающее начало, которого должен опасаться всякий, кто хочет сохранить свою непорочность.

Когда я впервые познакомился с Туйавии, он жил спокойно и вдали от европейского мира, на отдаленном островке Цполу, принадлежавшем к группе Самоа, в деревне Тиавеа, где он был государем и верховным вождем. Он производил впечатление сдержанного и приветливого великана. Ростом он был около двух метров и обладал необычайно могучим телосложением. Голос же его, напротив, звучал мягко и нежно, как женский. В больших, оттененных густыми бровями и глубоко посаженных глазах было что-то затвердевшее, тупое. Но, когда он заговаривал, они тепло загорались и обнаруживали ясную, доброжелательную душу.

Вообще же, Туйавии ничем не отличался от своих туземных братьев. Он пил свою «каву» ¹⁾, утром и вечером посещал «лото» ²⁾, ел бананы, таро и плоды хлебного дерева и придерживался всех туземных нравов и обычаев. Только самые доверенные люди знали, что непрестанно бродило в его душе и искало раз'яснения, когда он,

¹⁾ Самоанский национальный напиток, приготовленный из корней куста Кавы.

²⁾ Богослужение.

точно во сне, лежал с полужакрытыми глазами, дома, на своей большой циновке.

В то время как рядовой туземец, подобно ребенку, жил один в своем чувственном мире, весь в настоящем, без определенного взгляда на себя и все окружающее, — Туйавии был исключительной натурой. Он был головой выше себе подобных, ибо обладал самосознанием, той внутренней силой, которая, прежде всего, отличает нас от примитивных народов.

Из этой особенности, вероятно, и проистекало желание Туйавии познакомиться с далекой Европой, страстное желание, которое он питал еще будучи воспитанником миссионерской школы мористов, но которое он осуществил только в зрелых годах. Присоединившись к группе туземцев, отправлявшихся тогда на континент для этнографической демонстрации, посетил он из любопытности, одно за другим, все государства Европы и приобрел точные сведения о характере и культуре этих стран. Мне неоднократно случалось поражаться, как точны были эти сведения, в особенности, в отношении незначительных мелочей. Туйавии в высокой мере обладал даром трезвого и беспристрастного созерцания. Ничто не могло его ослепить, слова никогда не отклоняли его от истины. Он как бы созерцал вещь в себе; правда, при всех изучениях он никогда не мог отрешиться от своей платформы. Хотя я прожил более года в непосредственной близости от него — я был членом его сельской общины — Туйавии открылся мне лишь тогда, когда мы стали друзьями, когда он перестал видеть, позабыл во мне европейца, когда он убедился, что я созрел для его простой мудрости и ни в коем случае не буду насмешливо улыбаться (чего я, действительно, никогда не делал). Только тогда дал он мне прослушать отрывки из своих записей. Он читал мне их, ни на что не напирая и без

каких-либо ораторских усилий, так, словно все, что он хотел сказать, носило исторический характер. Но именно благодаря такого рода дикции, слова воспринимались мною чище и яснее и зародили во мне желание запомнить услышанное.

Лишь гораздо позже передал Туйавии свои записи в мои руки и разрешил мне перевести их на немецкий язык, что, думал он, делалось исключительно в целях личных комментариев, а не в качестве самодовлеющей работы. Все эти речи — наброски, все — незакончены. Туйавии никогда не смотрел на них иначе. Только тогда, когда он в душе своей вполне систематизировал бы материал и достиг бы окончательной ясности, собирался он начать свою «миссионерскую», как он ее называл, деятельность в Полинезии. Я же должен был покинуть Океанию, не дождавись пока все это в нем созрело.

Хотя для меня и было вопросом самолюбия при переводе возможно точнее держаться словесной формы оригинала и хотя я не позволял себе никакой вольности в распределении материала, я, все же, сознаю, как много утерялось от интуитивного характера дикции, от духа непосредственности. В этом меня охотно извинит тот, кто знает, как трудно онемечить примитивный язык и передать его по-детски звучащие выражения так, чтобы они не звучали банально и безвкусно.

На все завоевания европейской культуры Туйавии, некультурный островитянин, смотрит, как на заблуждения, как на тупик. Это могло бы показаться сомнением, если бы все это не преподносилось с удивительной наивностью, свидетельствующей о смиренности сердца. Правда, он предостерегает своих соотечественников, призывает их освободиться от владычества белых, но он делает это жалобным голосом и тем показывает, что его миссионерский пыл истекает из человеколюбия, а не

из ненависти. — «Вы думали, что несете нам свет», — сказал он при нашей последней беседе. — «На самом же деле, вы хотите втянуть нас в свою темноту». Он рассматривает предметы и жизненные события с честностью и правдолюбием ребенка, натывается на противоречия, открывает глубокие моральные недостатки, и, когда он их перечисляет и восстанавливает в памяти, они сами становятся для него опытом. Он не может постигнуть, в чем заключается высокая ценность европейской культуры, раз она отрывает человека от самого себя, делает его ненастоящим, неестественным и худшим. Когда он, начиная с внешности, точно с шелухи, перечисляет наши особенности, безо всякого пиетета называет их простейшими именами, то он раскрывает перед нами, хотя бы и ограниченно, но, все же, зрелище нашей природы, так что не знаешь, смеяться ли над автором или над предметом.

В этой детской откровенности и в отсутствии пиетета заключается по-моему ценность речей Туйавии для нас, европейцев, и оправдание их публикации. Война сделала нас, европейцев, скептиками по отношению к самим себе; мы тоже начинаем проверять вещи на их подлинную ценность, начинаем сомневаться в том, достигли ли мы своей культурой идеала нашего существа. Поэтому мы не будем считать себя слишком образованными, чтобы внутренне снизойти к простому образу мыслей и воззрений этого тихоокеанского островитянина, который еще не перегружен никаким образованием и природнее нас в своих чувствах и взглядах и который дает нам понять, в чем мы сами себя разбожествили, чтобы взамен того, сотворить себе кумиры.

Горн, в Бадене.

Эрих Шеурман

О ПРИКРЫТИИ ПЛОТИ У ПАПАЛАГИ, О МНОГИХ ЕГО НАБЕДРЕННИКАХ И ЦЫНОВКАХ

Папалаги непрестанно озабочен тем, чтобы хорошо прикрыть свою плоть. «Тело и его члены — это плоть. Только то, что выше шеи, есть настоящий человек». Так сказал мне один белый, который пользовался большим уважением и считался очень умным. Он думал, что только то заслуживает созерцания, в чем имеет пребывание дух и все хорошие и дурные мысли. Голова. Ее и, по необходимости, руки белый охотно оставляет неприкрытыми. Хотя голова и рука тоже суть не что иное, как мясо и кость. Кто позволяет видеть остальную свою плоть, тот стоит вне добрых нравов.

Когда юноша берет в жены девушку, он никогда не знает, не обманули ли его, ибо он перед тем никогда не видел ее тела ¹⁾. Девушка, будь она так же статна, как красивейшая «таопу» ²⁾ на Самоа, покрывает свое тело, чтобы никто не мог на него глядеть, ни радоваться при виде его.

¹⁾ Примечание Туайвин: «И после она редко ему показывает свое тело, и то в часы ночи или сумерек».

²⁾ Деревенская девушка, первая красавица.

Плоть есть грех. Так говорит Папалаги. Ибо дух его велик, по его мнению. Рука, при свете солнца поднимающаяся для метания, — стрела греха. Грудь, на коей вздымается волна дыхания, — обиталище греха. Ноги, коими девушка преподносит нам «сиву» ¹⁾, — греховны. И даже члены, соприкасающиеся, чтобы творить людей на радость великой земли, — суть грех. Все — грех, что плоть. Яд живет в каждой жиле, злокозненный, от человека к человеку перепрыгивающий. Кто только взглянет на плоть, всосет яд; он ранен, он так же дурен и порочен, как тот, который ее показывает. — Так вещают священные нравственные законы белого человека.

Поэтому-то тело Папалаги с головы до ног закутано в набедренники, цыновки и кожи, так прочно и густо, что ни один человеческий взгляд, ни один луч солнца их не пронизывает, так прочно, что его тело становится бледным, белым и вялым, как те цветы, что растут в глухом девственном лесу.

Дайте, я расскажу вам, более понятливые братья со многих островов, какую тяжесть каждый отдельный Папалаги носит на теле. Прежде всего, голое тело покрыто тонкой белой кожей, добываемой из волокон некоего растения и называемой «верхняя кожа». Ее подбрасывают и затем дают ей спуститься сверху вниз через голову на грудь и руки до бедер. По ногам и бедрам до пупа, натягивается снизу вверх, идет эта так называемая «исподняя кожа». Обе кожи покрываются третьей, более толстой кожей, сплетенной из волос четвероногого зверя, нарочно для этого разводимого. Это и есть настоящий набедренник. Он состоит по большей части из трех частей, из которых одна покрывает туловище, другая — середину тела, третья — бедра и ноги. Все три части

¹⁾ Туземный танец.

скреплены между собою раковинами и изготовленными из сока просушенного резинового дерева веревками, так что они как бы представляют один кусок. Этот набедренник большей частью сер, как лагуна в дождь; он никогда не смеет быть совсем цветным, разве только средняя часть и то только у мужчин, которые любят, чтоб о них говорили, и много бегает за женщинами.

Наконец, ступни покрываются одной мягкой и одной совсем прочной кожей. Мягкая большею частью растяжима и хорошо пригоняется к ноге. Но прочная не такова. Она изготовлена из кожи сильного зверя, которая до тех пор вымачивается в воде, скоблится ножами, выбивается и жарится на солнце, пока станет совсем твердой. Из нее Папалаги сооружает затем особого рода каное с высокими бортами, по величине как раз достаточное, чтобы вместить ступню. Одно каное для левой и одно для правой ноги. Эти ножные корабли крепко привязываются узлом у щиколотки, при помощи веревок и крючков, так что ступни прочно вдеты в домики, как тело морской улитки. Эти ножные кожи Папалаги носит от рассвета до заката, в них он отправляется в «малага»¹⁾, в них пляшет; он носит их, хоть будь такая жара, как после тропического дождя.

Так как это очень противоестественно (что белый, разумеется, сам замечает) и так как это делает ступни такими, точно они мертвые и уже начинают вонять, и так как, в самом деле, большинство европейских ступней уже не могут ни хватать, ни влезать на пальму, — то Папалаги старается скрыть свою глупость тем, что он красную по природе кожу этого животного обильно покрывает грязью, которой он долгим трением сообщает блеск, так

¹⁾ Путешествие.

что глаза не могут более выносить блеска и должны отвернуться.

Жил некогда в Европе один Папалаги, который прославился, к которому приходили многие люди, ибо он говорил им: «Нехорошо, что вы носите на ногах узкие и тяжелые кожи; ходите босыми под небом, покада ночная роса покроев траву, и всякая болезнь от вас отступит». Этот человек был очень здоров и умен; но над ним смеялись и скоро о нем позабыли.

Женщина тоже, подобно мужчине, носит много цыновок и набедренников, обмотанных вокруг туловища и бедер. От этого ее кожа покрыта рубцами и ссадинами от шнуров. Груды стали вялыми и не дают молока, вследствие давления цыновки, которую она навязывает от шеи до живота, а также на спину, — цыновки, твердой от проволоки, рыбьих костей и ниток. Поэтому большинство матерей дают своим детям молоко из стеклянного пузырька, который снизу закрыт, а наверху снабжен искусственным соском. К тому же молоко, которое они им дают, не их собственное, а тех красных, рогатых, безобразных зверей, у которых насильственно отцеживают его из четырех сосков на животе.

Вообще же, набедренники у женщин и девушек легче, чем у мужчин, и могут быть цветными и сиять далеко. Часто также просвечивают шею и руки, и позволяют видеть больше плоти, чем у мужчины. Несмотря на это, считается хорошим, если девушка сильно закрывается, и люди говорят с благоволением: «она — целомудренна», что означает: «она исполняет заповеди добрых нравов». Но этого я никогда не понимал: почему при больших «фоно»¹⁾ и пирах женщины и девушки свободно могут показывать тело на шее и спине, при чем это не считается

¹⁾ Сходбища, собрание.

стыдом. Но, может быть, в этом и есть вся соль праздника, что один раз дозволено то, что не каждый день дозволено.

Только мужчины всегда держат шею и спину сильно закрытыми. От шеи до соска «алии» ¹⁾ носит кусок накрепко пропитанного известью набедренника величиною с лист таро. Поверх его покоится обернутый вокруг шеи, тоже белый, высокий обруч, равным образом накрепко пропитанный известью. Сквозь этот обруч он протягивает кусок цветного набедренника, скручивает его как корабельный канат, втыкает в него золотой гвоздь или бусину и свешивает все это поверх щита. Многие Папалаги носят также известковые обручи на сгибах рук; но на щиколотке — никогда.

Этот белый щит и известковые обручи полны большого значения. Там, где есть женщины, Папалаги никогда не будут без этого украшения на шее. Еще хуже, если известковый обруч почернеет и больше не сияет. Поэтому многие высокие «алии» ежедневно меняют свои нагрудные щиты и известковые кольца.

В то время как женщина имеет много пестрых праздничных цыновок (часто наполняя ими много прямо стоящих ложей) и отдает много своих мыслей тому, какой набедренник она сегодня или завтра наденет, будет ли он коротким или длинным, и с большой любовью всегда говорит о том, какое украшение ей на него навесить, — мужчина, большею частью, имеет лишь один единственный праздничный наряд и никогда о нем не говорит. Это так называемый птичий наряд, совсем черный набедренник, который заострен на спине, как хвост попугая ²⁾. При этом наряде руки тоже должны покрываться белыми

¹⁾ Господин.

²⁾ Вероятно, имеется в виду фрак.

кожами, кожами на каждом пальце, такими узкими, что кровь горит и бежит к сердцу. Поэтому считается допустимым, чтобы разумные люди только носили эти кожи в руках или засовывали их под соском в набедренник.

Как только мужчина или женщина покидают хижину и вступают на улицу, они закутываются еще в один широкий набедренник, который, смотря по тому, светит ли солнце или нет, бывает толще или тоньше. Тогда они покрывают и голову, мужчины — черным, твердым сосудом, выпуклым и полым, как крыша самоанского дома, женщины — большими плетенками из лыка или опрокинутыми корзинами, при чем к этому они прицепляют цветы, которые никогда не могут увянуть, перья, лоскутки набедренников, бусы и всякого рода другие украшения. Они подобны «туйге» ¹⁾ какой-нибудь «тапоу» во время «пляски войны», только «туйга» много красивее и не может упасть с головы во время ветра или пляски. Мужчины взмахивают для приветствия этими головными домами при каждой встрече, в то время как женщины только слегка наклоняют головной груз вперед, как плохо нагруженные лодки.

Только ночью, когда Папалаги отыскивает цыновку, он сбрасывает с себя все набедренники, но сейчас же заворачивается в новый, единственный, который раскрыт снизу и оставляет ступни голыми. Девушки и женщины носят эту ночную оболочку, большею частью, с богатыми украшениями у шеи, хотя ее редко можно увидеть. Как только Папалаги ляжет на свою цыновку, он немедленно покрывается до головы перьями с живота большой птицы, которые собраны в большом набедреннике, чтобы они не могли рассыпаться или улететь.

¹⁾ Головной убор.

Эти перья вгоняют тело в пот и служат причиной того, что Папалаги думает, будто он лежит на солнце, даже тогда, когда оно не светит. Ибо настоящее солнце он читит гораздо меньше.

Ясно, что от всего этого тело Папалаги становится белым и бледным, без красок радости. Но таким любит его белый. Да, женщины, в особенности девушки, тщательно стараются уберечь кожу, чтобы она не покраснела от сильного света, и носят для защиты, как только выйдут на солнце, большие крышки над головой. Точно бледный цвет месяца драгоценнее цвета солнца. Но Папалаги любит во всех делах создавать себе особую мудрость и закон по своему образу. Раз его собственный нос остер, как зуб акулы, так, значит, он и красив, а наш, всегда остающийся круглым и безобидным, он объявляет безобразным, некрасивым, в то время как мы ведь говорим как раз обратное.

Так как тела женщин и девушек так сильно закрыты, то мужчины и юноши имеют большое желание видеть их тело, что — естественно. Они думают об этом и днем, и ночью и много говорят о формах тела женщин и девушек и всегда так, будто то, что естественно и прекрасно, есть большой грех и должно совершаться только в густой тени.

Если бы они позволяли открыто показывать плоть, то они отдавали бы больше мыслей другим вещам, и их глаза не косились бы, и их рот не говорил бы сладострастных слов, когда они встречаются с девушкой.

Но ведь плоть есть грех; она — от Айту ¹⁾. Существует ли мышление глупее этого, дорогие братья? — Если бы можно было верить словам белого, можно было бы вместе с ним желать, чтобы наше мясо было твердо как

¹⁾ Злой дух, дьявол.

комья лавы и без приятной теплоты, исходящей изнутри лавы. Теперь же возрадуемся, что наше тело может говорить с солнцем, что мы можем поднимать ноги, как дикая лошадь, ибо никакой набедренник их не скручивает и никакая кожа их не отягчает, и мы не должны следить за тем, чтобы покрывка не упала у нас с головы. Давайте же радоваться девушке красивой телом и показывающей свои члены при свете луны и солнца. Безумен, слеп, без вкуса и истинной радости живет белый, который должен так закутываться, чтобы не знать стыда.

О КАМЕННЫХ ЛАРЯХ, СКВАЖИНАХ В КАМНЕ, КАМЕННЫХ ОСТРОВАХ И О ТОМ, ЧТО МЕЖДУ НИМИ

Папалаги живет, как морской слизняк, в прочном жилище. Он живет между камнями, как сколопендра в трещинах лавы. Камни вокруг него, подле него и над ним. Его хижина подобна торчащему каменному ларю. Ларю, со множеством полок и истыканному дырами.

Только через одно место каменного жилища можно проскользнуть в него и из него. Это место Папалаги называет входом, когда он входит в хижину, и выходом, когда он выходит из нее, хотя это совершенно одно и то же. На этом месте находится большое деревянное крыло, которое нужно сильно толкнуть, чтобы можно было проникнуть в хижину. Но это еще только начало, и надо оттолкнуть еще несколько крыльев, тогда только по-настоящему попадаем в хижину.

Большинство хижин населено большим количеством людей, чем целая самоанская деревня. Поэтому нужно точно знать название «айги» ¹⁾, к которой приходишь в гости. Ибо всякая «айга» занимает особую часть каменного ларя наверху или внизу, или в середине, налево

или направо, или прямо. И одна «айга» часто не знает о другой ничего, совсем ничего, точно между ними не одна каменная стена, а Маноно, Аполима и Савайи ¹⁾ и многие моря. Часто они едва знают имена соседей и, если встречаются у входной дыры, то неохотно кланяются и жужжат друг на дружку, как враждебные насекомые. Точно они злятся, что должны жить рядом.

Если «айга» живет наверху, прямо под крышей хижины, то нужно взбираться на много ветвей зигзагом или по кругу, пока дойдешь до того места, где на стене написано название «айги». Тогда видишь пред собой изящное изображение женского соска, на которое нужно давить, пока не раздастся крик, сзывающий «айгу». Она смотрит сквозь маленькую круглую решетчатую дырку, не враг ли это. Тогда она не otvorит. Но если она узнает друга, то она сейчас же отвязывает большое деревянное крыло, крепко привязанное, и втягивает его к себе, так, чтобы гость через скважину мог пролезть в настоящую хижину. Она опять-таки разделена круглыми каменными стенами, и опять шмыгаешь через крылья и крылья из ларей в лари, которые становятся все меньше и меньше. Каждый ларь (Папалаги называет их комнатами) имеет дыру, а большие по две и более, через которые проникает свет. Эти дыры заделаны стеклом, которое можно убрать, если хотят впустить в ларь свежий воздух, что очень нужно. Но имеется много ларей без световой и воздушной дырки.

Самоанец в таком ларе скоро задохся бы, ибо нигде там не проходит струя свежего воздуха, как в каждой самоанской хижине. К тому же, запахи стряпни ищут выхода. Но, по большей части, запахи, проникающие извне, не многим лучше их; и трудно понять, как

¹⁾ Семейство.

¹⁾ Три острова, принадлежащие группе Самоа.

человек здесь не умирает: как он от тоски не станет птицей, как у него не вырастут крылья, чтобы подняться и полететь туда, где есть воздух и солнце. Но Папалаги любят свои каменные лари и уже не замечает их вредности.

Каждый ларь имеет особое назначение. Самый большой и светлый служит для семейного «фоно»¹⁾ и для приема гостей, другой — для спанья. Здесь лежат циновки — или, вернее, свободно висят на длинноногих станках, чтобы воздух свободно мог проходить под циновками. Третий ларь служит для принятия пищи и изготовления облаков дыма, в четвертом сохраняются с'естные припасы, а в последнем и самом маленьком купаются. Это самое красивое место. Оно обито большими зеркалами, пол украшен пестрыми камешками, а посредине стоит большая чаша из металла или камня, в которую течет пропитанная и непропитанная солнцем вода. В эту чашу, которая так же велика или даже больше, чем гробница вождя, влезают, чтобы очиститься и сполоснуть с себя песок каменного ларя. Есть, разумеется, и хижины с большим количеством ларей. Есть даже хижины, где каждое дитя имеет свой ларь, каждый слуга Папалаги, даже его пес и кони.

Между этими ларями Папалаги проводят жизнь. Он — то в том, то в другом ларе, смотря по времени дня и часу. Там вырастают его дети, — там, среди камня, высоко над землей, часто выше доброй пальмы. От времени до времени Папалаги покидает свои, как он их называет «частные» лари, чтобы подняться в другой ларь, который служит для его дела, где он не хочет, чтобы ему мешали, и где ему не нужно женщин и детей. В то время девушки и женщины находят в ларе для изготовления пищи и

стряпают или делают ослепительными ножные кожи, или моют набедренники. Если они богаты и могут держать слуг, то слуги исполняют работу, а сами они ходят в гости или выходят на добычу за новыми с'естными припасами. На такой лад живут в Европе столько людей, сколько растет пальм на Самоа, даже еще больше. Правда, многие из них испытывают сильную тоску по солнцу и лесу; но все смотрят на это, как на болезнь, которую надо в себе побороть. Если кто-нибудь недоволен этой жизнью в камнях, то обычно говорят: «он неестественный человек», что должно означать, «он не знает, что бог предназначил человеку».

Каменные же лари стоят порою в большом числе, тесно прижавшись друг к другу; ни одно дерево, ни один куст не разделяют их; они стоят, как люди, плечо к плечу, и в каждом живет столько Папалаги, сколько в целой самоанской деревне. Не дальше, чем можно бросить камень, стоит такой же ряд каменных ларей, тоже плечо к плечу, и в этих тоже живут люди. Итак, между ними лишь узкая скважина, которую Папалаги называет «улицей». Эта скважина зачастую длинна, как река и покрыта твердыми камнями. Надо долго идти, пока набредешь на место попросторнее; но и в него упираются скважины. И эти опять-таки длинны, как пресноводные реки, а их боковые отверстия суть опять-таки каменные скважины такой же длины. Так можно, пожалуй, несколько дней блуждать среди этих скважин, пока снова найдешь лес или кусок синего неба побольше. Над скважинами редко когда увидишь настоящий цвет неба: так как в каждой хижине есть по меньшей мере один, а то и очень много очагов, то воздух почти постоянно полон многим дымом и пеплом, как при извержении кратера на Савойи. Пепел дождем падает в скважины, так что высокие каменные лари выглядят как ил Мангровских болот, а у людей

1) Совет, сходбище.

черная земля застревает в глазах и волосах и твердый песок между зубами.

Но все это не мешает людям снова по этим скважинам с утра до вечера. Есть даже такие, которые находят в этом особое удовольствие. В особенности, в некоторых скважинах происходит сутолока, и люди текут по ним, как густой ил. Это те улицы, на которых воздвигнуты исполинские стеклянные ящики, где выставлены все вещи, нужные Папалаги для жизни: набедренники, головные уборы, ручные и ножные кожи, с'естные припасы, мясо и настоящая пища, в роде плодов и овощей, и еще многие другие вещи. Они лежат здесь открыто, чтобы приманивать людей. Никто, однако, не смеет взять что-нибудь себе, как бы оно ни было ему нужно; он сначала должен получить особое разрешение и принести жертву.

В этих скважинах со всех сторон грозят многие опасности, ибо люди не только бегают в разные стороны, но ездят и скачут верхом взад и вперед и заставляют возить себя в больших стеклянных ларях, скользящих по металлическим полосам. Шум велик. Уши твои оглушены, ибо лошади копытами ударяют по камням, и по ним же ударяют люди своими твердыми ножными кожами. Дети кричат, мужчины, от радости или от ужаса, кричат, все кричат. Ты иначе и не можешь объяснить, как только криком. Это — всеобщий свист, лязг, топот, грохот, точно ты стоишь перед прибоем волн об отвесные скалы Савойи в день, когда бушует величайшая буря. И, все же, тот шум приятнее и не так оглушает твои чувства, как шум в каменных скважинах.

Все это вместе: каменные лари с множеством людей, каменные трещины, убегающие туда и сюда, как тысячи рек, люди в них, шум и гам, черный песок и дым надо всем этим, без единого дерева, без синевы неба, без про-

зрачного воздуха и облаков, — все это есть то, что Папалаги называет «городом».

Итак, город есть то, о чем я говорил. Но есть много городов больших и малых. Самые большие суть те, в которых живут наивысшие вожди страны. Города разбросаны, как наши острова по морю. Иногда они отстоят друг от друга на один путь к купанью, иногда же на дневной переход. Все каменные острова связаны друг с другом отчетливо обозначенными тропами. Но ты можешь ехать и на земном корабле, тонком и длинном как змея, постоянно выплывающим дым и очень быстро скользящим по железным нитям, быстрее, чем двенадцатисельная лодка на всем ходу. Но если ты хочешь только прокричать своему другу «талоора» ¹⁾ с другого острова, то тебе не нужно идти или скользить к нему. Ты вдвигашь свои слова в металлические проволоки, которые, как длинные лианы, тянутся от одного каменного острова к другому. Скорее, чем птица летает, доходят они до места, намеченного тобою.

Между всеми каменными островами находится настоящая страна, находится то, что называют Европой. Здесь земля частью так же прекрасна и плодородна, как и у нас. Там имеются деревья, реки и леса, и есть настоящие маленькие деревни. Хоть хижины там и каменные, все же, они часто окружены плодоносными деревьями; дождь может омыть их со всех сторон, а ветер — высушить. В этих деревнях живут другие люди с другими чувствами, чем в городе. Их зовут земляными людьми. У них руки грубее и набедренники грязнее, чем у скважинных людей, хотя у них больше пищи, чем у тех. Жизнь их гораздо здоровее и красивее, чем у скважинных. Но сами они не верят в это и завидуют тем, кото-

¹⁾ Самоанское приветствие; буквально: «я люблю тебя».

рых они называют бездельниками, потому что те не копаются в земле, не кладут туда плодов и не вынимают их оттуда. Они живут во вражде с теми, ибо они должны давать им пищу от своей земли, должны срывать плоды, которые ест скважинный человек, должны пасти и ходить за ним, пока он не станет жирен, и тоже отдавать половину скважинным людям. Во всяком случае, это доставляет им много труда, добывать пищу для всех скважинных людей, и они не могут понять, почему те носят более красивые набедренники, чем они, и имеют более красивые и белые руки и не потеют много на солнце и не должны много мерзнуть под дождем, как они.

Но скважинному человеку до этого очень мало дела. Он уверен, что обладает большими правами, чем земляной, и что его дела имеют большую ценность, чем вкладывание и вынимание плодов из земли. Этот спор между двумя сторонами, однако, не таков, чтобы повести к войне. В общем, Папалаги, живет ли он среди скважин или на земле, считает, что все хорошо так, как оно есть. Земляной человек дивится царству скважинного, когда он туда попадает, а скважинный поет и горланит звуки, идя по деревьям земляного. Скважинный человек позволяет земляному искусственно откармливать свиней, а тот позволяет ему строить и любить свои каменные лари.

Мы же, свободные дети солнца и света, останемся верными Великому Духу и не будем отягощать его сердца камнями. Только заблудшие, больные люди, которые уже не держат божью руку в своей, могут счастливо жить среди каменных скважин без солнца, света и ветра. Предоставим Папалаги его сомнительное счастье, но подавим всякую его попытку выстроить и на наших солнечных берегах каменные лари и убить человеческую радость камнями, скважинами, грязью, шумом, дымом и песком, как он задумал и вознамерился.

О КРУГЛОМ МЕТАЛЛЕ И ТЯЖЕЛОЙ БУМАГЕ

Разумные братья, внимайте доверчиво и будьте счастливы, что не знаете зла и ужасов белого. Все вы можете свидетельствовать, что миссионер сказал: «Бог есть Любовь. Добрый христианин хорошо сделает, если вечно будет держать перед глазами образ Любви. Поэтому только великому богу воздаст почести белый». Он обманул нас, оболгал, Папалаги подкупил его, чтобы он обманул нас словами Великого Духа. Ибо круглый металл и тяжелая бумага, которые они называют деньгами — вот истинное божество белых.

Поговори с европейцем о бже Любви — он скривит лицо и улыбнется. Улыбнется наивности твоего разума. Но подай ему блестящий круглый кусок металла или большую тяжелую бумажку — тотчас же глаза его засверкают, и много слюны выступит у него на губах. Деньги — его любовь, деньги — его божество. Все они, белые, думают о них даже когда спят. Много их есть, чьи пальцы стали кривыми и подобными ножкам большого лесного муравья от частого хватания металла и бумаги. Много их есть, чьи глаза стали слепыми от счета денег. Много их есть, что отдали свою радость за деньги, смех свой, честь свою, совесть и счастье свое и даже жену и

детей. Почти все отдадут за них здоровье. За круглый металл и тяжелую бумагу. Они таскают их в своих набедренниках между сложенными вдвое твердыми кожами. Они кладут их ночью под спальный сверток, чтобы никто их не отнял. Они думают о них ежедневно, ежечасно, думают о них во всякое мгновение. Все! все! Даже дети! Они должны, обязаны думать! Мать их учит тому и от отца они видят то же. Все европейцы! Если ты идешь по каменным скважинам Сиамани¹⁾, то ежеминутно слышишь клич: «Марка!» И снова клич: «Марка!» Ты слышишь его повсюду. Это название блестящего металла и тяжелой бумаги. В Фалани²⁾ — франк, в Пелетани³⁾ — шиллинг, в Италии — лира. Марка, франк, шиллинг, лира — все это одно и то же. Все это означает деньги, деньги, деньги. Только деньги суть истинный бог Папалаги, если бог это то, что мы превыше всего обожаем.

Ты же в странах белого не можешь прожить без денег даже от восхода до заката. Совсем без денег. Ты не сможешь утолить голода и жажды; ты не найдешь цыновки на ночь. Тебя засадят в «фале-пуй-пуй»⁴⁾ и ославят во «многих бумагах»⁵⁾, за то, что у тебя нет денег. Ты должен «платить», т. е. отдавать деньги за землю, по которой ты ступаешь, за место, на котором стоит твоя хижина, за цыновку на ночь, за свет, освещающий твою хижину. За то, чтобы иметь право застрелить голубя или искупать свое тело в реке. Если ты хочешь пойти туда, где люди радуются, где они поют или пляшут, или попросить у брата совета, — ты должен отдать много

¹⁾ Германия.

²⁾ Франция.

³⁾ Англия.

⁴⁾ Тюрьма.

⁵⁾ Газеты.

круглого металла и тяжелой бумаги. За все ты должен платить. Повсюду стоит твой брат и протягивает руку, и он презирает тебя или сердится, если ты в нее ничего не положишь. И самая смиренная твоя улыбка и приветливый взгляд нисколько тебе не помогут умягчить его сердце. Он широко раскроет пасть и закричит на тебя: «Несчастный! Бродяга! Тунеядец!» Это все означает одно и то же: величайший позор, который кого-либо может постигнуть. Даже за свое рождение ты должен платить, а когда ты умрешь, твоя «айга» должна платить за то, что ты умер, и за то также, чтобы твое тело предали земле, равно как и за большой камень, который вкатывают на твою могилу.

Я нашел только одно, за что в Европе не взимают денег, что каждый может осуществлять, сколько угодно, это — дыхание. Но я думаю, что об этом просто позабыли, и я не буду утверждать, что если эти мои слова будут услышаны в Европе, то там немедленно не начнут взимать и за дыхание круглый металл и тяжелую бумагу. Ибо все европейцы вечно ищут новых поводов, чтобы требовать денег.

Без денег ты в Европе — человек без головы, человек без рук и ног. Ничто. Ты должен иметь деньги. Деньги тебе нужны, как еда, питье и сон. Чем больше у тебя денег, тем лучше твоя жизнь. Если у тебя есть деньги, ты можешь получить за них табак, или кольца, или красивые набедренники. Ты можешь получить столько табаку, колец или набедренников, сколько у тебя есть денег. Если у тебя много денег, ты можешь иметь много. Всякому хочется иметь много. Поэтому-то всякий хочет иметь много денег. И всякий — больше, чем есть у другого. Оттуда — жадность к ним и бодрствование глаз ради денег во все часы. Швырни круглый металл на песок: дети набросятся на него, будут драться из-за него,

а кто схватит его и завладеет им, тот — победитель, тот счастлив. Но деньги на песок бросают редко.

Откуда берутся деньги? Как можешь ты получить много денег? О, на много ладов, то легко, то с трудом: если ты отрубишь своему брату волосы, если ты вынесешь нечистоты из его дома, если ты гребешь в каное по воде, если ты имеешь крепкую мысль. Да, справедливости ради нужно сказать: хотя для всего требуется много тяжелой бумаги и круглого металла, ты, однако, за все легко можешь получить его. Ты только должен совершить действие, то, что они в Европе называют «работать». «Работай, тогда получишь деньги», гласит одна из заповедей в Европе.

При этом совершается великая несправедливость, о которой Папалаги не думает, не хочет думать, ибо иначе он должен был бы сознать свою несправедливость. Не все, у кого есть много денег, много работают. (Наоборот, всякий хотел бы иметь много денег, не работая). Происходит это так: когда белый заработает столько денег, что у него есть пища, хижина и циновка, и сверх того еще немного, то он сейчас же заставляет работать своего брата за себя. Он, прежде всего, дает ему ту работу, которая сделала его собственные руки грязными и твердыми. Он заставляет его выносить нечистоты, которым он сам причиной. Если он — женщина, то берет себе в работницы девушку. Она должна чистить грязную циновку, кухонную посуду и ножные кожи, она должна чинить рваные набедренники и не смеет делать ничего, что ему не полезно. Тогда у него (или у нее) остается время для более значительной, сильной и радостной работы, при которой руки чище и мышцы веселее и... за которую платят больше денег. Если он лодочник, то другой должен ему помогать делать лодки. Из тех денег, которые тот добывает помогая (и поэтому, собственно, должен

был бы получить целиком), он отнимает у него некоторую часть, большую, и, как только получит возможность, заставляет работать на себя двух братьев, затем трех; все больше их должно строить для него лодки, наконец, до ста человек и даже больше. До тех пор, пока он уже совсем ничего не делает, а только лежит на циновке, пьет европейскую «каву», жжет дымовые сверточки, отдает готовые лодки и велит приносить себе металл и бумагу. Тогда люди говорят: «он — богат». Они завидуют ему и говорят ему много лживых и звучных добрых слов. Ибо вес человека в белом мире — не в его знатности или смелости, или блеске его ума, а в количестве его денег, в том, сколько он их может ежедневно сделать, сколько он держит под замком в своем толстом железном ларе, который не может разрушить даже землетрясение.

Есть много белых, которые накапливают деньги, добытые для них другими, сносят их на место, где их хорошо охраняют, сносят туда все больше и больше, пока в один прекрасный день им уже больше не нужно работников, ибо тогда уже сами деньги работают за них. Как это возможно без какого-нибудь страшного колдовства, я никогда не мог, как следует, понять; но, в самом деле, происходит так, что денег становится все больше и больше, как листьев на деревьях, а человек становится все богаче, даже когда спит.

Если же кто-нибудь один имеет много денег, много больше, чем у большинства остальных, так много, что сотня, тысяча других могли бы себе облегчить работу, — он ничего им не дает. Он обнимает руками круглый металл и садится на тяжелую бумагу с алчностью и сладострастием в глазах. И если ты спросишь его: «Что ты сделаешь со своими большими деньгами? Ведь ты на этой земле можешь только одеться и утолить голод и жажду, не более того!» — он не знает, что тебе ответить,

или же говорит: «Я хочу добыть еще больше денег. Все больше. И еще больше». И ты понимаешь, что деньги сделали его больным, так что все его чувства одержимы деньгами.

Он болен и одержим, потому что к круглому металлу и тяжелой бумаге он прикрепил свою душу и никогда не может насытиться и не может перестать забирать себе возможно больше. Он не может рассуждать так: «Я уйду без упрёка и кривды из этого мира, как я пришел в него; ибо Великий Дух послал меня на землю без круглого металла и тяжелой бумаги». Об этом почти никто не думает. Большинство пребывает в своей болезни, никогда не выздоравливают сердцем и радуются власти, которую им дают деньги. Они распухают от гордости, как гнилые плоды под тропическим дождем. Они с наслаждением оставляют многих из своих братьев при грубой работе, чтобы самими стать жирными телом и процветать. Они делают это, и совесть их не мучит. Они радуются своим красивым бледным пальцам, которые теперь никогда более не грязнятся. Их не терзает и не лишает их сна то, что они непрерывно похищают чужую силу и делают ее своею собственностью. Они не думают о том, чтобы отдать другим часть своих денег и облегчить им работу.

В Европе половина людей должна много и грязно работать в то время, как другая половина мало или совсем не работает. У первой половины нет времени сидеть на солнце, у второй его много. Папалаги говорит: «все люди не могут иметь много денег и одновременно сидеть на солнце». Из этого учения он извлекает право быть жестоким ради денег. Его сердце твердо и кровь холодна, да, он притворяется и лжет, он всегда нечестен и опасен, когда его рука тянется за деньгами. Как часто один Папалаги убивает другого ради денег. Или он убивает его ядом своих слов, оглушает его, чтобы обобрать.

Поэтому редко кто доверяет другому, ибо все знают о своей большой слабости. Поэтому же ты никогда не знаешь, хорош ли сердцем человек, имеющий много денег; ибо он может быть очень плохим. Мы никогда не знаем, как и откуда он получил свои сокровища.

Зато богатый человек тоже не знает, предназначаются ли оказываемые ему почести ему самому или только его деньгам. Поэтому-то я и не понимаю почему те, у которых нет много круглого металла и тяжелой бумаги, так стыдятся этого и завидуют богатому человеку, вместо того, чтобы им самим завидовали. Ибо не хорошо и не красиво увешивать себя ни большою тяжестью ожерелий из раковин, ни большою тяжестью денег. Это отнимает у человека дыхание, а у его членов истинную свободу.

Но ни один Папалаги не хочет отказаться от денег. Ни один. Кто не любит денег, над тем смеются, тот — «валеа» ¹⁾. «Богатство (т. е. обладание большим количеством денег) делает счастливым», говорят Папалаги. И далее: «Земля, имеющая больше всего денег, самая счастливая».

Все мы, светлые братья, бедны. Наша страна беднейшая под солнцем. У нас нет достаточно круглого металла и тяжелой бумаги, чтобы наполнить ими один ларь. Мы жалкие нищие в глазах Папалаги. И все же! Когда я вижу ваши глаза и сравниваю их с глазами богатых «адии», то я нахожу их глаза тусклыми, вялыми и утомленными, а ваши сияют, как Великий Свет, сияют от радости, силы, живости и здоровья. Ваши глаза я находил только у детей Папалаги, прежде чем они начинали говорить, ибо до тех пор и они ничего не знали о деньгах. Как взыскал нас Великий Дух, защитив нас от этого

¹⁾ Глуп.



Айту! Деньги — это Айту, ибо все, что они делают, — плохо и делает плохим. Кто притронется к деньгам, тот подпадает под их чары, а кто любит их, тот должен им служить и отдавать им свои силы и все радости, покуда жив. Возлюбим же свой благородный обычай, который велит презирать человека, какой за каждое гостеприимство, за каждый предложенный плод требует «алофа»¹⁾. Возлюбим наши обычаи, нетерпящие, чтобы один имел много больше, чем другой, или один имел очень многое, а другой ничего, чтобы мы не стали в сердцах наших, как Папалаги, который может быть счастлив и радостен, когда его брат подле него печален и несчастлив.

Но, прежде всего, будем остерегаться денег. Папалаги и нам предлагает круглый металл и тяжелую бумагу, чтобы мы стали падкими на них. Они будто бы должны сделать нас богаче и счастливее. Уже многие из нас ослеплены и поражены этой тяжелой болезнью. Но если вы поверите словам вашего смиренного брата и узнаете, что я говорю правду, когда объясню вам, что золото никого не делает веселее и счастливее, но повергает сердце и всего человека в тяжелое смятение, что деньгами никогда нельзя помочь человеку, сделать его веселее, сильнее и счастливее, — то вы возненавидите круглый металл и тяжелую бумагу, как злейшего врага.

¹⁾ Подарок.

МНОЖЕСТВО ВЕЩЕЙ ДЕЛАЕТ ПАПАЛАГИ БЕДНЫМ

И еще потому узнается Папалаги, что он хочет убедить нас, будто мы бедны и несчастны и нуждаемся в большой помощи и сострадании, ибо мы не имеем вещей.

Позвольте мне рассказать вам, дорогие братья со многих островов, что это такое — вещь. Кокосовый орех, опахало против мух, набедренник, раковина, перстень, миска для пищи, головной убор — все это вещи. Но есть два рода вещей. Есть вещи, которые делает Великий Дух незримо для нас и которые не стоят нам ни труда, ни усилия, как кокосовый орех, раковина, банан. И есть вещи, которые делают люди и которые стоят многих трудов и усилий, как перстень, миска или опахало от мух. «Алии», стало быть, имеет в виду вещи, которые он сам делает своими руками, людские вещи; их нам не хватает, ведь не может же он говорить о вещах Великого Духа. Ибо кто богаче и у кого больше вещей Великого Духа, чем у нас? Оглянитесь кругом до места, где края земли поддерживают большой синий свод. Все полно большими вещами: лес со своими дикими голубями, колибри и попугаями, лагуна с морскими огурцами, раковинами, лангустами и другим водяным зверем, побережье со светлым лицом и мягкой шкурой

песка, Великая Вода, которая может гневаться, как воин, и улыбаться, как «таопоу», большой синий свод, который меняется каждый час и покрывается большими цветами, несущими нам свет золотой и серебряный. Зачем же нам быть глупцами и делать еще много вещей в придачу к этим вещам, к этим благородным вещам Великого Духа? Все равно, мы никогда не сумеем сравняться с Ним, ибо дух наш слишком мал перед мощью Великого Духа, и наша рука слишком слаба перед Его большой и могучей рукой. Все, что мы можем сделать, не велико и не стоит того, чтобы об этом говорить. Мы можем удлинить нашу руку дубиной, мы можем увеличить нашу ладонь с помощью «таноя»¹⁾, но ни один самоанец и ни один Папалаги еще не сделал пальмы или ствола кавы.

Папалаги думает, правда, что он может делать такие вещи, что он так же силен, как Великий Дух. И поэтому тысячи и тысячи рук с восхода до заката только и делают, что готовят вещи. Человеческие вещи, употребления которых мы не знаем и красоты которых не чувствуем. А Папалаги думает о все большем количестве новых вещей. Его руки дрожат как в лихорадке, его лицо становится серым, как пепел, и спина искривляется. Но он сияет от счастья, когда ему удастся новая вещь. И тотчас же все хотят иметь новую вещь и поклоняются ей, ставят ее перед собой и воспевают ее на своем языке.

О, братья, если бы вы могли мне поверить! Я проник в мысли Папалаги и видел его волю, точно солнце освещало ее в полуденный час. Разрушая вещи Великого Духа везде, куда он ни придет, он хочет вновь

¹⁾ Деревянный сосуд из многих ножек для приготовления национального напитка.

оживить убитое собственными силами, и при этом он убеждает себя, что сам он — Великий Дух, раз он делает так много вещей.

Братья, вообразите, что сейчас налетела бы большая буря и сорвала бы с места девственный лес и его горы со всей листвой и деревьями, унесла бы с собою все раковины и все зверье лагуны и не осталось бы ни одного цветка, чтобы наши девушки могли украсить волосы, — все, все, что мы видим, исчезло бы и не осталось бы ничего, кроме песка, и вся земля стала бы похожей на гладкую вытянутую ладонь или на холм, по которому протекла раскаленная лава... Как бы горевали о пальме, о раковине, о девственном лесе, обо всем! Но там, где стоят многие хижины Папалаги, на местах, которые они называют «городами», там земля так же пустынна, как голая ладонь, и поэтому-то Папалаги помешался и играет в Великого Духа, чтобы позабыть о том, чего у него нет. Потому, что он так беден и земля его так печальна, он хватается за другие вещи, собирает их, как дурачок сухие листья, и наполняет ими свою хижину. Поэтому же он завидует нам и хочет, чтобы мы стали такими же бедными, как и он.

Это знак большой бедности, когда человек нуждается во многих вещах, ибо этим он доказывает, что он беден вещами Великого Духа. Папалаги беден, раз он сходит с ума по вещам. Он уже не может жить без вещей. Когда он делает себе из спины черепахи орудие, чтобы пригладить волосы, смазанные маслом, то он делает кожу для орудия, маленький ларчик для кожи, и еще большой ларец для маленького ларчика. Все он сует в кожи и ларчики. Существуют ларцы для набедренников, для верхних полотнищ и исподних полотнищ, для умывальных полотнищ и обтиральных полотнищ, и для других полотнищ, ларчики для ножных кож и для ручных кож,

для круглого металла и тяжелой бумаги, для с'естных припасов и для Священной Книги, для всего-всего. Из всякой вещи, где только она одна и нужна, он делает много вещей. Если войдешь в европейскую кухню, то увидишь столько мисок и кухонной посуды, сколько никак нельзя использовать. Для каждой пищи имеется особая «таноа», для воды другая, чем для европейской кавы, для кокосового ореха другая, чем для грибов.

Европейская хижина содержит столько вещей, что если даже каждый человек из самоанской деревни наполнит ладони и нагрузит руки, то всей деревни не хватит, чтобы их унести. В одной хижине находится столько вещей, что иные белые вожди держат многих мужчин и женщин, которые только то и делают, что ставят эти вещи, куда следует, и очищают их от песка. И даже самая высокогородная «таопоу» тратит много времени на то, чтобы считать, переставлять и чистить все свои многочисленные вещи.

Братья, вы знаете, я не лгу и говорю все по правде, как я это видел, не прибавляя и не отнимая. Так поверьте же мне, что есть люди в Европе, которые прикладывают огненную трубку к собственному лбу и убивают себя, предпочитая вовсе не жить, чем жить без вещей. Ибо Папалаги многими способами одурманивает свой дух и, между прочим, внушает себе, что он не может быть без вещей, как человек не может быть без пищи.

Поэтому я не нашел в Европе ни одной хижины, где я мог бы хорошо улечься на циновке, где бы ничто не мешало моим членам вытянуться. Все вещи испускали молнии или громко кричали устами своей краски, так что я не мог сомкнуть глаз. Никогда я не мог найти настоящего покоя и никогда я так не тосковал по моей хижине на Самоа, где нет никаких вещей, кроме моих циновок

и подголовного свертка, где ничто до меня не доносится, кроме нежного веянья, морского пассата.

У кого мало вещей, тот зовет себя бедным и горюет. Нет ни одного Папалаги, который пел бы и делал веселые глаза, если у него есть только циновка и миска, как у каждого из нас. Мужчины и женщины из белых стран сокрушались бы в наших хижинах; они поспешили бы натаскать дерева из лесу, щитов черепахи, стекла, цветных камней и еще много другого; с утра до ночи они бы двигали руками, пока их самоанская хижина не наполнилась бы вещами большими и малыми, вещами легко рассыпающимися, которые может уничтожить всякий огонь, всякий тропический дождь, для того, чтобы нужно было делать все новые и новые.

Чем человек более европеец, тем больше вещей ему нужно. Поэтому руки Папалаги-никогда не устают делать вещи. Поэтому лица белых часто так утомлены и печальны и потому же лишь немногим из них дано видеть вещи Великого Духа, играть на деревенской площади, складывать и распевать веселые песни или в солнечные дни плясать в лучах и всячески радоваться своему телу, как суждено нам ¹⁾. Они должны делать вещи. Они должны охранять свои вещи. Вещи цепляются за них, ползают по ним, как маленький песчаный муравей. Они с холодным сердцем совершают всевозможные преступления, чтобы дорваться до вещей. Они воюют друг с другом, не ради мужской славы или чтобы померяться силами, а ради вещей.

¹⁾ Поселяне Самоа часто сходятся, чтобы совместно играть или забавляться пляской. В танцах упражняются с детских лет. Всякая деревня имеет свои песни и своего поэта. По вечерам во всякой хижине слышится пение. Оно благозвучно благодаря обилию гласных в языке, а также благодаря тонкому музыкальному слуху островитян.

И все-таки... все они сознают великую бедность своей жизни; иначе не было бы так много Папалаги, которые пользуются большими почестями, за то, что проводят свою жизнь, окуная пучки волос в пестрые соки и нанося красивые отражения на белые циновки. Они выписывают все божьи вещи так пестро и весело, как только могут. Они лепят также из мягкой земли людей без набедренников, девушек с прекрасными свободными движениями «тоапоу» из Матауту ¹⁾ или фигуры мужчин, замахивающихся дубинами, натягивающих лук или выслеживающих в лесу дикого голубя. Людей из земли, которым Папалаги строит особенно высокие праздничные хижины, куда народ стекается издалека, чтобы любоваться их красотой и святостью. Они стоят перед ними, тесно замотанные в свои многие набедренники, и содрогаются. Я видел, как Папалаги плакал от радости при виде той красоты, которую он сам утерял.

Теперь белые люди хотели бы принести нам свои сокровища, чтобы и мы были богаты... свои вещи. Но эти вещи не что иное, как отравленные стрелы, от которых умирает тот, в чью грудь они вопьются. «Мы должны навязать им потребности». Я слышал, как это говорил один человек, хорошо знающий нашу страну. Потребности — это вещи. «Тогда они станут трудолюбивее», продолжал этот умный человек. И он думал, что мы тоже должны отдавать силы наших рук, чтобы делать вещи для себя, но, в первую голову, для Папалаги. И мы тоже должны стать утомленными, согбенными, серыми.

Братья со многих островов, мы должны бодрствовать и сохранять ясность мысли, ибо слова Папалаги кажутся сладкими бананами, но они полны скрытых дротиков,

¹⁾ Деревня на Уполу.

которые хотели бы убить в нас всякий свет и всякую радость. Не будем никогда забывать, что мы нуждаемся лишь в очень немногих вещах, кроме вещей Великого Духа. Он дал нам глаза, чтобы мы видели Его вещи, и человеческой жизни не хватит, чтобы их все пересмотреть. И никогда, никогда из уст белого человека не исходила ложь больше той, что вещи Великого Духа бесполезны, а его собственные вещи будто бы очень полезны, более полезны. Их собственные вещи, столь многочисленные, что блещут и сверкают и всячески заигрывают и заманивают, еще не сделали ни одного Папалаги красивее телом, не сделали его глаз яснее и разума крепче. Поэтому его вещи ни на что не годятся и поэтому то, что он говорит и что навязывает нам, — от злого духа, и его мысли пропитаны ядом.

У ПАПАЛАГИ НЕТ ВРЕМЕНИ

Папалаги любит круглый металл и тяжелую бумагу, он любит набивать себе живот различными жидкостями из умерщвленных плодов и мясом свиньи, коровы и других ужасных зверей; но более всего любит он то, чего нельзя схватить, но что, все-таки, существует — время. Он поднимает из-за этого большую возню и много глупых разговоров. Хотя его никогда не может быть больше, чем влезает между восходом и закатом, ему, все же, всегда недостает его.

Папалаги всегда недоволен своим временем, и он жалуется на Великого Духа, что он не дает больше времени. Да, он поносит бога и его великую мудрость, деля и разделяя каждый новый день по совершенно определенному плану. Он разрезает его точно так, как если бы ножом провести крест-на-крест по кокосовому ореху. Все части имеют свои названия: секунда, минута, час. Секунда короче минуты, а та короче часа. Все они вместе составляют час и нужно иметь 60 минут и еще больше секунд, чтобы получить столько времени, сколько нужно для одного часа.

Это запутанная вещь, которую я никогда не мог понять до конца, потому что мне претит дольше, чем

нужно, размышлять о таких ребяческих вещах. Но Папалаги делает из этого большую науку. Мужчины, женщины и даже дети, которые еле стоят на ногах, носят в набедренниках, на металлической цепочке вокруг шеи или на кожаных полосках у кистей рук, маленькую, плоскую, круглую машину, на которой они могут прочитать время. Это чтение — не легкое дело. Дети упражняются в нем, при чем им подносят машину к уху, чтобы приохотить их.

Такая машина (ее легко можно поднять двумя пальцами) в животе своем выглядит так же, как машины в животе больших кораблей, которые вы все знаете. Но есть также большие и тяжелые машины времени, которые стоят во внутренности хижин или висят на доколях самых-высоких домов, чтобы их можно было видеть издали. Когда же пройдет одна часть времени, то маленькие пальцы на внешней стороне машины показывают это; одновременно она вскрикивает: дух в ее сердце ударяет по железу. Да, в европейском городе возникает сильный шум и гомон, когда протечет часть времени.

Когда раздастся этот шум времени, Папалаги жалуется: «Это большая тягота, что опять прошел час». Он, большею частью, делает при этом печальное лицо, как человек, которому приходится переносить большое горе, хотя тотчас же притекает совсем свежий час.

Я никогда не мог понять это иначе, чем так, что это тяжкая болезнь. — «Время бежит от меня!» — «Время скачет, как конь!» — «Дай мне еще немного времени!» — Вот жалобные возгласы белого человека.

Я говорю, что это, вероятно, особый вид болезни. Ибо, если, допустим, белому хочется что-нибудь сделать, сердце его этого просит, если он, скажем, хочет пройти по солнцепеку или поехать по реке в каное или

любить свою девушку, то он, по большей части, портит себе удовольствие, будучи прикован к мысли: «у меня нет времени, чтобы веселиться». Время, казалось бы, тут, но он его не видит при наилучшем желании. Он перечисляет тысячу вещей, отнимающих у него время, сидит себе насупившись и жалуется на работу, к которой у него нет охоты, от которой он не видит радости и к которой его никто и не приневоливает, кроме его самого. Если же он видит, что имеет время, что оно, все-таки, тут, или другой дает ему его — Папалаги часто дают друг другу время, и ничто так высоко не ценится, как подобный поступок — то у него уже недостает охоты или он устал от безрадостного труда. И постоянно он хочет делать завтра то, для чего у него сегодня есть время. Есть Папалаги, утверждающие, что у них никогда нет времени. Они бегают, потеряв голову, как одержимые Айту, и куда ни приходят, везде причиняют зло и ужас, потому что они потеряли свое время. Одержимость эта — ужасное состояние, болезнь, которую не может излечить ни один знахарь, которая заражает многих людей и доводит до нужды.

Так как всякий Папалаги одержим страхом за свое время, то он (и не только каждый мужчина, но и каждая женщина, каждый малый ребенок) доподлинно знает, сколько солнечных и лунных восходов протекло с того времени, когда он сам впервые увидел Великий Свет. Да, это играет столь серьезную роль, что это через известные равные промежутки празднуется с цветами и с большим пиром. Сколько часто я чувствовал, как они думали, что им должно быть стыдно за меня, когда меня спрашивали, сколько мне лет, а я смеялся и не знал этого. «Ты же должен знать, сколько тебе лет». Я молчал и думал: «Лучше, что я не знаю».

«Сколько тебе лет», это значит: «сколько месяцев ты жил». Это подсчитывание и распытывание полно опасности, ибо таким образом узнали, сколько месяцев продолжается жизнь большинства людей. Всякий только точно следит и, когда пройдет порядочное число месяцев, он говорит: «Теперь я скоро умру». Он больше не знает радости и, действительно, скоро умирает.

В Европе имеется лишь немного людей, у которых, действительно, есть время. Может быть, их и вовсе нет. Поэтому-то большинство и несется сквозь жизнь, как пушенный камень. Почти все на ходу глядят в землю и широко раскидывают руки, чтобы передвигаться возможно скорее. Если их остановили, то они восклицают с неудовольствием: «Чего ты мешаешь мне? У меня нет времени; смотри за тем, чтобы хорошо использовать свое».

Они поступают так, точно человек, который быстро ходит, храбрее и ценнее того, кто ходит медленно.

Я видел человека, у которого расселась голова, который вращал глазами и разевал пасть, как издыхающая рыба, который краснел и зеленел и дрыгал руками и ногами, потому что его слуга пришел на одно дыхание позже, чем обещал притти. Этот промежуток одного дыхания был для него невозвратимой потерей. Слуга должен был покинуть его хижину. Папалаги прогнал его и ругал: «Довольно ты мне стоил времени. Человек, не соблюдающий времени, не достоин его».

Только однажды я встретил человека, у которого было много времени, который никогда на него не жаловался. Но он был беден и грязен и презираем. Люди сторонились его, и никто не обращал на него внимания.

Я не понимал такого поступка, так как его походка была неспешна, а глаза тихо, приветливо улыба-

лись. Когда я спросил его, то его лицо исказилось и он печально сказал: «Я никогда не умел использовать своего времени; поэтому — я бедный, жалкий простофиля». У этого человека было время, но и он не был счастлив.

Папалаги употребляет все силы и отдает все свои мысли на то, чтобы сделать время возможно гуще. Он пользуется водой и огнем, бурей, небесною молнией, чтобы задержать время. Он подкладывает железные колеса под ноги и дает крылья своим словам, чтобы иметь больше времени. Но зачем весь этот великий труд? Что делает Папалаги со своим временем? Я никогда не мог постигнуть этого, хотя он и произносит такие слова и делает такие движения, точно Великий Дух позвал его на «фоно».

Я думаю, время ускользнет от него, как змея из мокрой руки, именно потому, что он уж слишком его удерживает. Он не дает ему времени одуматься. Он всегда гонится за ним по пятам с вытянутыми руками; он не дает ему покоя, чтобы оно могло полежать на солнце.

Оно всегда должно быть тут же, должно что-нибудь петь или рассказывать. А время медлительно и миролюбиво и любит покой и привольное лежание на цыновках. Папалаги не распознал природы времени; он не понимает его, и потому он мучит его своими грубыми обычаями.

О, дорогие братья! Мы никогда не жаловались на время, мы любили его таким, каким оно приходило, не гнались за ним и никогда не пытались ни складывать, ни разлагать его. Никогда оно не было нам на горе или досаду. Пусть выступит вперед тот из нас, у кого нет времени!

Каждый из нас имеет его вдоволь; но мы же и довольны им: мы не расходуем больше времени, чем у нас есть и, все-таки, нам довольно и того. Мы знаем, что достаточно рано придем к цели и что Великий Дух по воле своей отзовет нас, даже если мы не знаем числа своих месяцев.

Мы должны освободить бедного заблудшего Папалаги от безумия, должны вернуть ему его время. Мы должны разбить его маленькую круглую машинку и возвестить ему, что между восходом и закатом есть больше времени, чем человек может использовать.

ПАПАЛАГИ СДЕЛАЛ БОГА БЕДНЫМ

Папалаги обладает странным и весьма запутанным мышлением. Он всегда думает о том, что может быть ему полезным и что делает его правым. Он большею частью думает не за всех, а только за одного человека. А этот человек — он сам.

Если человек говорит: «Моя голова — моя, и никому, кроме меня, не принадлежит», — то это так и есть, действительно, так и есть, и никто ничего возразить не может. Никто не имеет большего права на собственную руку, чем тот, кому принадлежит рука. До этих пор я соглашаюсь с Папалаги. Но он говорит также: «Пальма — моя». Потому что она стоит прямо против его хижины. Точно он сам ее вырастил. Но пальма никак ему не принадлежит. Никак. Она — рука божья, которую он протягивает нам из-под земли. У бога очень много рук. Каждое дерево, каждый цветок, каждая травка, море, небо, облака на нем — все это божьи руки. Мы можем прикасаться к ним и радоваться им; но мы все же не смеем говорить божья рука — моя рука. А это и делает Папалаги.

«Лау» означает на нашем языке «мое» и «твое», это почти одно и то же. Но на языке Папалаги вряд ли есть

слова, которые имели бы столь разный смысл, как это «мое» и «твое». Мое — это то, что только и исключительно принадлежит мне. Твое — это то, что только и исключительно принадлежит тебе. Поэтому Папалаги говорит обо всем, что стоит в пределах его хижины: это — мое. Никто не имеет на это права, кроме него. Когда ты приходишь к Папалаги и когда ты что-нибудь у него видишь, будь то плод, дерево, вода, лес, клочек земли, — всегда есть поблизости кто-нибудь, кто скажет: «Это — мое! Остерегайся взять что-либо, мне принадлежащее!» Если же ты все-таки за этим потянешься, то он кричит, называет тебя «вором», каковое слово означает великий позор, и все это только за то, что ты решился коснуться «моего» у ближнего. Его друзья и слуги наивысших вождей прибегают, надевают на тебя цепи и ведут тебя в «фале-пуй-пуй», и ты обшечен на всю жизнь.

Так вот, для того, чтобы один не брал вещей другого, которые тот объявил своими, особыми законами точно устанавливается, что кому принадлежит и что нет. И есть в Европе люди, которые только и делают, что следят за тем, чтобы никто не преступал законов, чтобы у Папалаги не брали ничего из того, что он сам себе взял. Папалаги хочет таким образом представить, точно он, в самом деле, получил право, точно бог действительно передал ему свое имущество на все времена. Точно ему и впрямь принадлежит пальма, дерево, цветок, море, небо и облака на нем.

Папалаги должен издавать такие законы и иметь таких хранителей для многочисленного «моего», дабы те, у кого есть лишь маленькое «мое» или вовсе его нет, ничего от его «моего» не отняли. Ибо там, где многие тащут к себе, есть и многие, у кого ничего в руках не остается. Не всякий знает уловки и тайные знаки, чтобы дойти до многого «моего», и для этого нужна особая рода храб-

рость, которая не всегда согласуется с тем, что мы называем честью. И очень возможно, что те, которые мало имеют в руках, суть наилучшие из Папалаги, потому что они не оскорбляют бога и не хотят ничего у него отнимать. Но, наверное, таких очень немного. Большинство грабит бога безо всякого стыда. Они только это и умеют делать. Они часто вовсе не знают, что совершают что-то нехорошее, именно потому, что все так делают и ни о чем не думают, и не стыдятся. Иные получают много «моего» из рук своих отцов, когда рождаются. Как бы то ни было, у бога почти ничего не остается, люди почти все у него отняли и сделали из этого «мое» и «твое». Он уже не может всем равно давать свое солнце, для всех предназначающее, потому что кто-нибудь один требует для себя больше, чем получают другие. На больших хороших солнечных местах часто сидят лишь немногие, в то время как многие в тени ловят жалкие лучики. Бог уже не может по-настоящему радоваться, ибо он уже не наивысший «алии силл» в своем большом доме. Папалаги отрекается от него, говоря: «все — мое». Но так глубоко он не заглядывает, хотя и думает много. Напротив, он объявляет свои поступки честными и законными. Но он нечестен и беззаконен перед богом.

Если бы он правильно думал, он бы знал, что нам не принадлежит ничего из того, что мы не можем удержать. Что удержат мы, в сущности, ничего не можем. Тогда бы он увидел также, что бог дал свой большой дом, чтобы все имели в нем место и радость. И что дом достаточно велик и для каждого есть там немного солнца и маленькая радость, и что для каждого человека найдется тень пальмы и, уж конечно, маленькое местечко для его ступней, чтоб он мог там стоять, согласно божьей воле и предназначению. Как мог бы бог позабыть хоть

об одном из своих детей? И, все же, столь многие не могут отыскать того маленького садика, который бог отвел для них.

Так как Папалаги не внемлет божьей заповеди и творит себе собственные законы, бог посылает ему много врагов его собственности. Он посылает на него жару и влагу, чтоб разрушить его «мое», одряхление, распадение, гниение. Он дает и огню власть над его сокровищами, и буре тоже. Но, прежде всего, он закладывает в самое сердце Папалаги... страх. Опасение за то, что он себе присвоил. Сон Папалаги никогда не глубок, ибо он должен бодрствовать, чтобы ночью у него не унесли того, что он натаскал за день. Он должен всегда держать свои руки и мысли на всех концах своего «мое». И все это «мое» непрестанно мучит его и издевается над ним, говоря: «ты отнял меня у бога, и потому я терзаю тебя и причиняю тебе много страданий».

Но еще худшее наказание, чем страх, уготовал бог Папалаги. — Он дал ему войну между теми, у кого есть лишь малое «мое» или вовсе нет «моего», и теми, кто взял себе большое «мое». Эта борьба горяча и тяжка и длится день и ночь. Это борьба, которая захватывает всех, которая у всех гложет жизненную радость. Кто имеет, должен дать, но давать не хочет. Те, кто не имеют, хотят иметь, но ничего не получают. И эти тоже редко бывают божьими воителями. Обычно они только опоздали к грабежу, или были неловки, или им не представилось случая. Что обокраден бог, об этом почти никто не думает. И лишь изредка слышится призыв праведного, вновь отдать все в божьи руки.

О, братья, что думаете вы о человеке, имеющем дом величиной с самоанскую деревню и не дающем путнику пристанища на ночь? Что думаете вы о человеке, который держит в руках ветку бананов и не дает ни одного

плода тому, кто просит чтобы утолить голод. Я вижу гнев в ваших глазах и великое презрение. Знайте же: так поступает Папалаги во всякий час. И будь у него хоть сотня цыновок, он не дает ничего тому, у кого нет ни одной. Он даже ставит другому в укор и в вину то, что у того нет ни одной. Пусть вся его хижина до самого конька будет полна припасами в гораздо большем числе, чем он и его «айга» могут с'есть во многие годы, он не пойдет искать тех, кому нечего есть, которые бледны и голодны. А есть много Папалаги бледных и голодных.

Пальма стряхивает свои плоды и листья, когда они созревают. А Папалаги живет так, как пальма, которая хотела бы удержать свои плоды: «Они — мои! Вам нельзя их брать и вкушать от них!» Но как бы тогда пальма принесла новые плоды? В пальме больше мудрости, чем у Папалаги.

И среди нас есть многие, имеющие больше, чем другие, и мы воздаем почести вождю, у которого много цыновок и много свиней. Но эти почести относятся к нему самому, а не к цыновкам и свиньям. Ибо мы сами дали ему их в виде «алофы» ¹⁾, чтобы показать свою радость и восхвалять его храбрость и мудрость. Папалаги почитает многочисленных свиней и цыновки своего брата; мало ему дела до его храбрости и мудрости. Брат без цыновок и без свиней получает лишь мало почестей или вовсе никаких.

Так как ведь цыновки и свиньи не могут сами притти к бедному и голодному, то и Папалаги не видит причины, чтобы давать ему это. Ведь он уважает не человека, а только цыновки и свиней, а потому он и оставляет их себе. Если бы он любил и уважал своих братьев и не затевал с ними борьбы за «мое» и «твое», то он принес бы им цыновки, чтобы они имели часть его большого «моего».

¹⁾ Подарка,

Он разделит бы с ними свою собственную цыновку вместо того, чтобы выбрасывать их вон, в темную ночь.

Но Папалаги не знает, что бог дал нам пальму, банан, драгоценное таро, всех птиц в лесу и всех рыб в море, чтобы мы все радовались им и были счастливы. Всем, а не только немногим из нас, в то время как другие должны бедствовать и терпеть нужду. Кому бог дал в руку много, тот должен отдавать своему брату, чтобы плод не сгнил в его руке. Ибо бог протягивает всем людям свои многие руки; он не хочет, чтобы один имел несравненно больше, чем другой, или чтобы один говорил: «Я стою на солнце, а твое место — в тени». Всем нам место на солнце.

Где бог держит все в своей справедливой руке, там нет борьбы и нет нужды. А лукавый Папалаги и нас хочет уговорить: «богу не принадлежит ничего. Тебе принадлежит то, что ты можешь удержать руками!» — Закроем же уши для таких бессильных речей и будем крепко держаться благой мудрости: «богу принадлежит все» ¹⁾.

¹⁾ *Примечание Издателя:* Презрительные слова Тупавии касательно наших понятий о собственности должны быть понятны всякому, кто знает, что туземцы Самоа живут в полной общности всего имущества. Понятий «мое» и «твое» в нашем смысле фактически не существует. При всех моих странствиях туземец всегда делил со мною свою кровлю, цыновку, пищу, точно это само собой разумеется. И часто слышал я от какого-нибудь вождя, в качестве первого привета: «что мое то твое». Понятие «кражи» чуждо этим островитянам. Все принадлежит всем, все принадлежит богу.

ВЕЛИКИЙ ДУХ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ МАШИНА

Папалаги делает много вещей, которых мы сделать не можем, которых мы никогда не поймем, которые для нашей головы то же, что тяжелые камни. Вещи, которых мы не желаем, но которые слабейших из нас могут повергнуть в оцепенение и в напрасное самоуничтожение. Поэтому, давайте обзирать без страха удивительное искусство Папалаги.

Папалаги обладает умением все превращать в свое копьё и в свою дубину. Он берет себе дикую молнию, горячий огонь и быструю воду и делает их покорными своей воле. Он запирает их и раздает им приказания. Они слушаются. Они — его сильнейшие воины. Он знает великую тайну, как делать дикую молнию еще мгновеннее и светлее, горячий огонь — еще горячее, быструю воду — еще быстрее.

Папалаги, в самом деле, кажется «проламывающим небо»¹⁾, вестником бога; ибо он по своей прихоти управляет

землей и небом. Он одновременно и рыба, и птица, и конь, и червяк. Он вкапывается в землю. Сквозь землю. Под широчайшими реками пресной воды. Он проскользает сквозь горы и скалы. Он подвязывает себе под ноги железные колеса и несется быстрее любого коня. Он поднимается на воздух. Он умеет летать. Я видел, как он реял по небу, как морская чайка. У него есть большое каное, чтобы ехать в нем по воде, и есть каное, чтоб ехать под морем. На каное ездит он от тучи к туче.

Дорогие братья, я свидетельствую истину моими словами, и вы должны верить вашему слуге, хотя бы ваши чувства внушали вам сомнение в том, что я вам возвещаю. Ибо велики и весьма удивительны вещи Папалаги, и я боюсь, что много найдется среди нас таких, которые ослабеют перед такой силой. И откуда мне начать, чтобы поведать вам все, что глаза мои видели с изумлением.

Всем вам известно большое каное, которое белый называет «пароходом». Разве оно не похоже на большую могучую рыбу? Как это возможно, что оно скорее проезжает от острова до острова, чем сильнейшие из наших юношей могут догнать в каное? Видели ли вы в движении этот большой плавник на хвосте. Он ударяет и движется точно так же, как у рыб в лагуне. Большой плавник двигает вперед большое каное. Как это возможно — вот великие тайны Папалаги. Эта тайна скрыта в теле большой рыбы. Там заключена «машина», которая дает большому плавнику большую силу. Это она, машина, таит в себе ту большую силу. Сказать, что такое машина, на это не хватает моей головы. Я знаю только одно: она жрет черные камни и за это дает свою силу, — силу, какой не может обладать ни один человек.

¹⁾ «Папалаги» называется белый, чужой, а буквально «проламыватель неба». Первый белый миссионер, высадившийся на Самоа, приехал в парусной лодке. Туземцы приняли белую лодку издали за дыру в небе, сквозь которую белый пришел к ним. Так он проломал небо.

Машина — это сильнейшая дубина Папалаги. Дай ему крепчайший ствол ифи во всем лесу, и рука машины разобьет его, как мать срывает плод таро для своих детей. Машина — это великий европейский колдун. Ее рука сильна и никогда не устает. Если она хочет, она вырезает сотню, тысячу «таноя» в день. Я видел, как она ткала набедренники, такие тонкие, такие изящные, точно сотканые тончайшими руками девушки. Она ткала с утра до ночи. Она изрыгнула целый холм набедренников. Позорна и жалка наша сила перед мощной силой машины.

Папалаги — колдун. Спой песню — он поймает твою песню и вернет ее тебе во всякий час, как только ты пожелаешь. Он ставит перед тобой стеклянную пластинку и ловит на нее твое отражение. И тысячекратно снимает он с нее твое изображение, сколько угодно раз.

Но еще большие чудеса, чем эти, я видел. Я сказал вам, что Папалаги уловляет небесные молнии. Это в самом деле так. Он ловит их, машина должна их с'есть, разжевать, а к ночи она выплевывает их в виде тысячи звезд, светлячков и маленьких лун. Ему ничего не стоило бы ночью залить наши острова светом, так что они будут светлыми и блестящими, как днем.

Часто он опять отправляет молнии по своим делам; он указывает им дорогу и вверяет им вести для своих отдаленных братьев. А молнии слушаются и берут вести с собой.

Папалаги сделал все свои члены более сильными. Его руки протягиваются через моря и достают до звезд, а его ноги перегоняют ветер и волны. Его ухо слышит всякий шопот на Савайи, а его голос имеет крылья, как птица. Глаз его видит ночью. Он видит тебя насквозь, точно твое мясо прозрачно, как вода, и он видит все нечистоты на дне этой воды.

Все это, чему я был свидетелем и о чем объявляю вам, составляет лишь часть того, что мое око видело с изумлением. И, верьте мне, велико честолюбие белого, чтобы творить все новые и сильнейшие чудеса, и тысячи их прилежно просиживают ночи и размышляют, как бы оттягать победу у бога. Ибо так оно и есть: Папалаги посягает на бога. Он хотел бы раздробить Великого Духа и забрать его силы себе. Но все еще бог могущественнее, чем величайший Папалаги и его машина, и все еще он предопределяет, кто из нас и когда должен умереть. Все еще служат солнце, вода и огонь, в первую голову, ему. И еще ни один белый не установил по своему желанию восхода луны и направления ветров.

Пока это так, те чудеса имеют мало значения. И слаб тот из нас, братья, кто будет побежден этими чудесами Папалаги, кто будет поклоняться Папалаги ради его дел, а себя самого объявит бедным и недостойным, оттого что его рука и дух не могут сделать того же.

Ибо как ни поражают наш взор чудеса и искусство Папалаги, если рассмотреть их при свете солнца, они стоят не больше, чем вырезывание дубины и плетение цыновки, и вся его работа подобна игре ребят на песке. Ибо из всего, что сделал белый, нет ничего, что хотя бы отдаленно походило на чудеса Великого Духа.

Великолепны и мощны, и украшены хижины высоких «алии», что зовутся дворцами, и еще прекраснее высокие хижины, выстроенные во славу божью, которые зачастую выше, чем вершина Тофуа¹⁾. И, все-таки... все это грубо и неуклюже и лишено теплой живой крови перед всяким гибисковым кустом с его пламенными цветами, перед всякой верхушкой пальмы и упоительными красками и формами леса кораллов. Никогда еще Папалаги не

¹⁾ Высокая гора на Уполу.

сплел такого тонкого набедренника, какой бог плетет в каждом пауке, и ни одна машина не сделана так тонко и искусно, как маленький песчаный муравей, живущий в нашей хижине.

Белый, сказал я вам, взлетает на облака, как птица. Но большая морская чайка все-таки летает выше и быстрее человека и при всякой буре; и крылья ее растут из тела, в то время как крылья Папалаги — только обман и легко могут сломаться и отвалиться.

Таким образом, все его чудеса имеют слабое место, и нег ни одной машины, которая не требовала бы сторожа и погонщика. И всякая таит в себе скрытое проклятие. Ибо, хоть сильная рука машины и делает все, однако, она тут же при работе с'едает любовь, которую скрывает в себе всякая вещь, изготовленная нашими собственными руками. Зачем мне палица или каное, вырезанные машиной, бескровным холодным существом, которое не может ни говорить о своей работе, ни улыбнуться, когда она окончена, ни принести ее отцу и матери, чтобы и они порадовались. Как бы мог я любить свою «таноя», как я ее люблю, если бы машина каждую минуту могла бы сделать ее снова без моей помощи? — В этом великое проклятие машины, что Папалаги ничего больше не любит, потому что она все может ему немедленно сделать. Он должен кормить ее собственным сердцем, чтобы получать от нее бесстрастные чудеса.

Великий Дух сам хочет устанавливать силы земли и неба и распределять их по своему разумению. Это право никогда не принадлежит людям. Белый не безнаказанно пытается сделаться рыбой, птицей, лошастью и червем. И тораздо меньше его прибыль, чем он сам смеет себе признаться. Если я скачу верхом по деревне, то я, конечно, скорее передвигаюсь, но если я иду пешком, я вижу больше, и друзья приглашают меня в свои хижины. Быстро

достигать цели редко является очень прибыльным. Папалаги же всегда торопится к цели. Большинство его машин исключительно служат для того, чтобы быстро достигать какой-либо цели. Когда он ее достиг, его манит новая. Так мчитя Папалаги без отдыха сквозь жизнь и все больше отучается от ходьбы и прогулки, от веселого приближения к цели, которая идет нам навстречу, которой мы не ищем.

Поэтому я говорю вам: машина — красивая игрушка большого белого ребенка, и все его хитрости не должны нас страшить. Еще не соорудил Папалаги ни одной машины, которая защитила бы его от смерти. Он еще не сделал и не создал ничего большего, чем то, что бог каждый час делает и созидает. Машины и все хитрости, и чары еще не продлили жизни ни одного человека и не сделали никого ни счастливее, ни веселее. Давайте же держаться чудесных машин и возвышенных творений божьих и относиться с презрением к белому, играющему в бога.

О ПРОФЕССИЯХ ПАПАЛАГИ И КАК ОН В НИХ ЗАПУТЫВАЕТСЯ

Всякий Папалаги имеет «профессию». Трудно сказать, что это такое. Это — нечто, к чему надо было бы иметь охоту и к чему ее обыкновенно не имеют. «Иметь профессию» это значит делать всегда одно и то же. Делать что-нибудь так часто, чтобы быть в состоянии делать это с закрытыми глазами и безо всякого напряжения. Если я своими руками только то и делаю, что строю хижины и плету циновки, то постройка хижин или плетение циновок — это моя профессия.

Есть мужские и женские профессии. Мыть белье в лагуне и делать ножные кожи блестящими — это женские профессии; править кораблем на море или стрелять голубей в кустах — мужские. Женщина, большей частью, бросает свою профессию, когда вступает в брак, мужчина же только тогда и начинает заниматься ею как следует. «Алии» выдает свою дочь только в том случае, если жених имеет профессию, в которой наловчился. Папалаги, лишенный профессии, не может жениться. Всякий белый человек должен и обязан иметь профессию.

По этой причине каждый Папалаги задолго до того возраста, когда юноша дает себя татуировать, должен

решить, какую работу он хочет совершать в течение жизни. Это называется: «избрать профессию». Это очень важное дело, и «айга» говорит об этом столько же, сколько о том, что она собирается кушать на следующий день. Если он изберет профессию циновщика, то старший «алии» поведет молодого «алии» к человеку, который тоже только то и делает, что плетет циновки. Этот человек должен показать юноше, как плетется циновка. Он должен научить его изготовлять циновку так, чтобы он мог изготовлять ее, не глядя. Это часто продолжается много времени; но когда он научится это делать, он уйдет от того человека, и тогда говорят: «у него есть профессия».

Если же Папалаги впоследствии убедится, что он охотнее строил бы хижины, чем плел циновки, то говорят: «он ошибся в своей профессии»; это все равно, что сказать: «он промахнулся». Это большое горе, ибо это противно обычаю, — просто взять себе другую профессию. Противно чести истинного Папалаги — сказать: «я этого не умею... у меня нет к этому охоты...» или: «мои руки мне в этом не повинуются».

У Папалаги столько же профессий, сколько лежит камней в лагуне. Из всякого действия он делает профессию. Если кто собирает увядшие листья хлебного дерева, то он занимается профессией. Если кто чистит посуду, то и это — профессия. Все — профессия, где что-нибудь делается руками или головой. Профессия также — иметь мысли или глядеть на звезды. Нет, собственно говоря, ничего, что может делать человек, из чего бы Папалаги не сделал профессию.

Итак, если белый говорит: «Я — тусси-тусси»¹⁾ — то это его профессия, значит, он ничего другого не

¹⁾ «Тусси» — письмо; «тусси-тусси» — писмописец.

делает, а только пишет одно письмо за другим: он не расстилавает своей цыновки на спальных козлах, он не ходит к очагу, чтобы испечь себе плод, он не чистит своей посуды. Он ест рыбу, но не ходит на ловлю, он есть плоды, но не рвет их с дерева. Он пишет один «тусси» за другим; ибо «тусси-тусси» — его профессия. Точно так же, как, само по себе, профессией является: расстилание цыновки на козлах, печение плодов, чистка посуды, рыбная ловля, срывание плодов. Только профессия действительно уполномочивает каждого на его поступки.

От этого-то и происходит, что большая часть Папалаги только то и может делать, что составляет их профессию, и величайший вождь, у которого много мудрости в голове и много силы в руке, неспособен расстелить свою цыновку на козлах и очистить свою посуду. И от того же происходит, что тот, кто может написать пестреющий красками «тусси», не должен уметь выехать в каное на лагуну — и наоборот. «Иметь профессию» означает: уметь только бегать, только нюхать, только пробовать на вкус, только сражаться, словом, уметь только что-нибудь одно.

В этом «умении делать одно» заключается большой недостаток и большая опасность; ибо каждый ведь может однажды попасть в такое положение, что ему придется переехать лагуну в каное.

Великий Дух дал нам наши руки, чтобы мы могли срывать плод с дерева, поднимать из болота шишки таро. Он дал нам их, чтобы защищать наше тело против всех врагов, и дал их нам для радости в игре и пляске и всех увеселениях. Но, конечно, он дал их нам не для того, чтобы мы только строили хижины, только рвали плоды или поднимали шишки; но они должны быть нашими слугами и воинами во всякое время и при всяком случае.

Этого Папалаги не понимает. Но что его поступки ошибочны, в корне ошибочны, мы узнаем из того, что есть белые, которые уже не могут бегать, которые отрачивают себе много жира на животе, как «пуаа»¹⁾, потому что они по профессии всегда должны пребывать в покое; и другие уже не могут поднять и метнуть копья, ибо их рука держит только косточку, которою пишут, они только сидят в тени и пишут «тусси»; и другие не могут править диким конем, потому что они глядят на звезды или выкапывают мысли из самих себя.

Редко какой Папалаги, достигши зрелого возраста, еще умеет прыгать и скакать, как дитя. Он при ходьбе протискивает свое тело сквозь воздух и двигается так, точно ему все время что-то мешает. Он скрашивает и отрицает эту слабость, говоря, что бег, прыжок и скакание не приличествует человеку с известным достоинством. Но все это только увертки: его кости стали твердыми и неподвижными, и радость покинула все его мускулы, так как «профессия» осудила их на сон и смерть. Профессия — это тоже Айту, уничтожающий жизнь, Айту, который нашептывает человеку красивые слова, но высасывает кровь из его тела.

Но профессия вредит Папалаги еще и на другой лад и еще с другой стороны обнаруживает себя, как Айту.

Приятно строить хижину, рубить деревья в лесу, срабатывать из них балки, водрузить эти балки, возвести над ними кровлю и, наконец, когда балки, перекладины и все остальное хорошо связаны кокосовыми веревками, покрыть все сухими стеблями сахарного тростника. Мне нечего говорить вам, какая это радость, когда деревня воздвигнет дом вождя и даже дети и женщины принимают участие в великом празднестве.

¹⁾ Свинья.

Что бы вы сказали, если бы узнали, что только немногие из деревни могут пойти в лес, чтобы срубить деревья и обделывать столбы? А эти немногие не имеют права вкопать балки, ибо их профессия — только рубить деревья и обделывать столбы? А те, которые вобьют балки, не будут иметь права плести обрешетку крыши, ибо их профессия — только вбивать балки? А те, что сплетут обрешетку, не посмеют помогать при покрывании ее стеблями тростника, ибо их профессия — только плести обрешетки? И нельзя будет всем помогать тащить с побережья круглый щебень для посыпки пола, ибо это дозволено только тем, чья это профессия. Отпраздновать же построение хижины и освятить ее можно будет только тем, кто в ней поселится, а не всем, кто ее строил.

Вы смеетесь, а тогда вы наверное сказали бы: если мы должны делать только что-нибудь одно, а не все, и помогать не во всем, для чего служит мужская сила, то у нас будет только половина радости или ее вовсе не будет. И вы, без сомнения, ославите дураком всякого, кто потребовал бы от вас, чтобы вы пользовались вашей рукой для одной только цели, точно все ваши остальные члены и чувства онемели и умерли.

Из этого-то и проистекает величайшая беда Папалаги. Хорошо один раз зачерпнуть воды в источнике, пожалуй, даже несколько раз в день; но кто должен черпать от зари до ночи и всякий день снова во все часы черпать, пока хватит сил, — тот, в конце концов, во гневе отшвырнет черпак и возмутится против оков на своем теле. Ибо нет ничего тяжелее для человека, чем всегда делать одно и то же.

Но есть такие Папалаги, которые не то что черпают изо дня в день все из того же источника — это еще было бы для них великой радостью — нет, они только

поднимают и опускают руку или дергают за какую-то палочку в грязном помещении без света и без солнца, они не делают ничего, в чем было бы какое-нибудь усилие или какая-нибудь радость, но делать это — поднимать, или опускать, или дергать — все же необходимо, по мнению Папалаги, потому что этим, по всей вероятности, подгоняется или направляется какая-нибудь машина, которая вырезывает известковые запястья или грудные щиты, раковины для брюк или еще что-нибудь. Больше чем пальм на наших островах найдете вы в Европе таких людей, чьи лица пепельно-серы, оттого что они не видят радости от своей работы, оттого, что их профессия пожирает всякое удовольствие, оттого что их работа не производит никакого плода, ни даже листа, которому можно было бы радоваться.

И потому живет палящая ненависть в людях этих профессий. У всех у них в сердцах живет что-то в роде зверя, скованного цепью, вздымающегося на дыбы и все-таки не могущего вырваться. И все взаимно сравнивают свои профессии и полны завистью и недоброжелательством. Говорят о высоких и низких профессиях, хотя ведь всякая профессия есть лишь половинчатое дело. Ибо человек — не только рука или нога, или голова; он — все вместе. Рука, нога и голова хотят быть вместе. Только тогда, когда все члены и чувства действуют заодно, человек может радоваться здоровой радостью, а не тогда, когда только часть человека должна жить, а все остальное в нем — умереть. Это доводит человека до смятения, отчаяния и болезни.

Папалаги живет в смятении из-за своей профессии. Но он не хочет этого замечать и, безусловно, если бы он услышал эти мои слова, он объявил бы меня глупцом, который хочет быть судьей, а судить не может, ибо он

сам никогда не имел профессии и никогда так не работал, как европеец.

Но Папалаги никогда еще не смог убедить нас в истинности того, что мы должны работать больше, чем бог требует от нас для того, чтобы быть сытыми, иметь кровлю над головой и радость во время празднества на деревенской площади. Работа наша может показаться ничтожной, а наше существование — бедными профессиями. Но всякий истинный мужчина и брат со многих островов совершает свою работу с радостью, а не с мукой. Иначе он ее вовсе не делает. Это и есть то, что отличает нас от белых. Папалаги вздыхает, говоря о своей работе, точно его давит груз; с песней выходят юноши Самоа в поле таро, с песней девушки стирают набедренники в текучем ручье. Великий Дух, безусловно, не хочет, чтобы мы посереди от профессий и ползали как жабы и маленькие ползучие зверьки в лагуне. Он хочет, чтобы мы оставались прямыми и гордыми во всяком деле, оставались людьми с веселыми глазами и подвижным телом.

О МЕСТЕ ПОДЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ И О МНОГИХ БУМАГАХ

Многое, милые братья с Великого Моря, должен был бы сказать вам ваш смиренный слуга, чтобы поведать правду об Европе. Для этого моя речь должна была бы быть, как водопад, который течет с утра и до вечера; и все-таки эта правда была бы неполной, ибо жизнь Папалаги подобна морю, чье начало и конец нельзя точно увидеть. У нее столько же волн, сколько у Великой Воды; она бурлит и волнуется, улыбается и дремлет. Как никто не может вычерпать ладонью Великой Воды, так и я не могу своим слабым духом принести к вам большое море Европы.

Но об этом я хочу рассказать вам, не мешкая; ибо как море не может быть без воды, так европейская жизнь не может быть без места поддельной жизни и без многих бумаг. Отними эти две вещи у Папалаги, и он будет подобен рыбе, выброшенной прибоем на побережье: она может только дрыгать телом, но не плавать и не резвиться, как ей хочется.

Место поддельной жизни. Нелегко описать вам это место, которое белый называет «кино», так, чтобы вы ясно узнали его своими глазами. В каждом поселении

в Европе имеется это таинственное место, которое люди любят больше, чем миссионерский дом, — это место, о котором мечтают даже дети и к которому охотно и с любовью обращают мысли.

Кино — это хижина, большая, чем самая большая хижина вождя на Уполу, даже еще гораздо больше. Она темна даже при свете дня, так темна, что никто не может узнать другого, что человек ослеплен, когда он входит, и еще более ослеплен, когда выходит. Люди прокрадываются туда, бредут ощупью вдоль стены, покуда не является дева с огненной искрой и ведет их туда, где еще есть место. Густо-густо сидят Папалаги в потемках один подле другого, никто друг друга не видит, темное место полно молчащих людей. Каждый сидит на узкой дощечке; все дощечки стоят против одной ровной стены.

Изнутри этой стены, как из глубокой пропасти, несутся громкие звуки и жужжание, и как только глаза попривыкнут к темноте, можно различить одного Папалаги, который, сидя, сражается с ларем. С растопыренными руками ударяет он по ларю, по многим белым и черным языкам, которые высовывает большой ларь, и каждый язык при каждом ударе громко взвизгивает, и каждый другим голосом, что производит дикий и беспорядочный гам, как во время деревенской ссоры.

Этот шум должен отвлечь наши чувства и ослабить их, чтобы мы верили в то, что видим и не сомневались, что это вправду существует. Прямо перед нами на стене появляется сияние, точно сильный лунный свет падает на нее, а в сиянии — люди, настоящие люди, у которых одежда и вид такой же, как у настоящих Папалаги, которые движутся и ходят взад и вперед, которые бегают, смеются, скачут точно так же, как это можно видеть повсеместно в Европе. Это — точно отражение луны в лагуне. Это — луна и, все же, не луна. Так и это — только отражение.

Все двигают губами, нет сомнения в том, что они говорят и, все же, не слышно ни слова, ни звука, как ни вслушивайся и как ни мучительно это, что ничего не слышно. И в этом главная причина, почему тот Папалаги так бьет по ящику: он должен производить впечатление, будто людей не слышно только из-за его шума. И поэтому же порою на стене появляются письма, возвещающие, что Папалаги сказал или что ему еще надлежит сказать.

И, все-таки... эти люди — лишь призрачные люди, а не настоящие. Если бы их можно было тронуть, то можно было бы убедиться, что они из света и не даются в руки. Они существуют только для того, чтобы показывать Папалаги все его страдания и радости, его глупости и слабости. Он видит совсем близко прекраснейших женщин и мужчин. Хоть они и немые, но он видит их движения и блеск их глаз. Они как-будто бросают свет на него и говорят с ним. Самых высоких вождей, с которыми он никогда не встречается, он видит беспреткновенно и близко, как равных. Он принимает участие в больших пиршествах, «фоно» и других торжествах, ему кажется, что он, действительно, там, что он тоже ест и празднует. Но там же он видит, как Папалаги похищает девушку из «айги», или как девушка изменяет своему юноше. Он видит, как дикий человек хватается за горло богатого «алии», как его пальцы глубоко вдавливаются в кожу на шее, как выпучиваются глаза «алии», как он умирает, а дикий человек берет круглый металл и тяжелую бумагу из его набедренника.

Пока глаз Папалаги видит такие радости и ужасы, он сам должен сидеть совсем смиренно; он не смеет бранить неверную девушку, не смеет устремиться на помощь богатому «алии», чтобы спасти его. Но это не огорчает Папалаги; он смотрит на это с большим наслаждением, точно у него совсем нет сердца. Он не испытывает ни

страха, ни омерзения. Он созерцает все это, точно он какое-то другое существо. Ибо тот, кто смотрит, всегда твердо уверен, что он лучше, чем люди, которых он видит в луче света, и что сам он избегает всех тех безумств, которые ему показывают. Тихо и задержав дыхание, приковался он взглядом к стене, и, как только он увидит мужественное сердце и благородный образ, он втягивает его в свое сердце и думает: «это — мой образ». Он сидит совсем неподвижно на своем деревянном сидении и глазет на отвесную, гладкую стену, где нет ничего живого, кроме обманчивого луча света, который колдун впускает через маленькую скважину на задней стене и в котором столь многое живет поддельной жизнью.

Втягивать в себя эти фальшивые изображения, не имеющие настоящей жизни, — вот что доставляет Папалаги высокое наслаждение. В этом темном помещении, он может без стыда и так, чтобы другие люди не видели его глаз, перенестись в такого рода жизнь. Бедный может играть в богатого, богатый — в бедного, больной может вообразить себя здоровым, слабый — сильным. Всякий может здесь в темноте присвоить себе и пережить в поддельной жизни то, чего он в настоящей не испытывает и никогда не испытает.

Отдаваться этой фальшивой жизни стало большой страстью Папалаги, такой большой, что он из-за нее забывает свою настоящую жизнь. Эта страсть болезненна, ибо настоящий мужчина не хочет вести в темном помещении призрачную жизнь, но теплую и настоящую при свете яркого солнца. Последствие этой страсти таково, что многие Папалаги, выйдя из места поддельной жизни, уже не могут отличить ее от настоящей и, обзудев, мнят себя богатыми, когда они бедны, и красивыми, когда они безобразны. Или совершают преступления, которых они никогда не совершили бы в настоя-

щей жизни, но которые они совершают, так как уже не могут отличить, что есть и чего нет. Это состояние сходное с тем, которое вы все видели у европейца, когда он выпил слишком много европейской «кавы» и думает, что ходит по волнам.

«Многие бумаги» тоже вызывают в Папалаги своего рода опьянение и дурман. — Что это такое, многие бумаги? — Вообразите себе цыновку из тапы, тонкую, белую, сложенную, разделенную и снова сложенную, со всех сторон мелко исписанную, совсем мелко... Вот каковы многие бумаги или, как Папалаги называет их, газеты.

В этих бумагах заключена великая мудрость Папалаги. Каждое утро и каждый вечер он должен держать свою голову между ними, чтобы снова ее наполнить и насытить, чтобы лучше думать и держать в себе многое, подобно тому, как лошадь лучше бежит, если с'ест больше бананов, и брюхо ее хорошо наполнено. Пока «алии» еще лежит на цыновке, по стране уже бегают вестники и раздают многие бумаги. Это первое, за что хватается Папалаги, стряхнув с себя сон. Он читает. Он впиивается глазами в то, что рассказывают многие бумаги. И все Папалаги делают то же: они тоже читают. Они читают, что сказали высочайшие вожди и проповедники Европы на своих «фоно». Это точно написано на цыновке даже тогда, когда это что-нибудь совсем глупое. Даже их набедренники, которые были на них, точно описаны и то, что эти «алии» ели, и как зовется их лошадь, и страдают ли они сами от элэфантиазиса ¹⁾ или слабоумия.

То, что они рассказывают, в нашей стране звучало бы следующим образом: «Пуле нуу ²⁾ из Матауту сегодня

¹⁾ Болезнь, поражение тканей, от которого члены неестественно распухают.

²⁾ Судья.

утром после крепкого сна, прежде всего, с'ел остаток таро от вчерашнего ужина, затем пошел ловить рыбу, к полудню вернулся в свою хижину, улегся на циновку и пел и читал библию до вечера. Его жена, Сина, прежде всего, накормила ребенка, затем пошла купаться и нашла при дороге прекрасный цветок «пуа», которым она украсила свои волосы и затем опять вернулась в свою хижину». И так далее.

Все, что происходит и что люди делают или не делают, — все сообщается; их хорошие и дурные мысли, как и то, что они зарезали свинью или курицу, или построили себе новое каное. Не бывает и не случается ничего на обширной земле, чего бы циновка добросовестно не рассказала. Папалаги называет это: «быть хорошо осведомленным обо всем». Он хочет быть осведомленным обо всем, что от одного заката до другого происходит в его стране. Он возмущается, если что-нибудь ускользнет от него. Он с жадностью вбирает в себя все. Хотя там возвещаются также все ужасы и все то, что здоровый человеческий разум охотнее всего тотчас же забывает. Но именно это плохое и болезненное сообщается еще точнее, чем все хорошее, даже со всеми подробностями, как-будто не важнее и не веселее сообщать хорошее, чем дурное.

Если ты читаешь «газету», то ты не должен ездить в Аполиму, Манону или Савайи, чтобы узнать, что твои друзья едят, думают и празднуют. Ты можешь спокойно лежать на циновке: многие бумаги все тебе расскажут. Все это кажется очень хорошим и приятным, но это ошибочное заключение. Ибо если ты, например, повстречаешься со своим братом, и оба вы уже подержали голову во многих бумагах, то один не сумеет сообщить другому ничего нового и необычного, раз всякий носит в своей голове то же самое, поэтому вы глядите друг на

другу молча или повторяете друг другу то, что сказали бумаги. И все-таки всегда больше чувствуешь, когда сам участвуешь в празднестве или в печальном обряде, чем если слышишь рассказ из чужих уст и ничего не видишь своими глазами.

Но не то делает газету вредной для нашего духа, что она рассказывает о случившемся, а то, что она говорит нам также, что мы должны думать о том и об этом, о наших высоких вождах и вождах других стран, обо всех происшествиях и делах людей. Газета хотела бы дать всем людям одну голову, она воюет с моей головой и моими мыслями. И это ей удастся. Если ты утром прочитаешь многие бумаги, ты к полудню уже знаешь, что каждый Папалаги носит в своей голове и думает.

Газета тоже своего рода машина: она ежедневно делает много мыслей, гораздо больше, чем может сделать отдельная голова. Но большинство мыслей — слабые мысли, без гордости и силы, они, правда, наполняют нашу голову большим количеством пищи, но не делают ее сильной. Мы с тем же успехом могли бы наполнить наши головы песком. Папалаги переполняет свою голову такой бесполезной бумажной пищей. Не успев еще выбросить из себя одной, он уже принимает новую. Его голова, как Мангровские болота, задышающиеся в собственной тине, на которых не растет уже ничего зеленого и плодоносного, где поднимаются лишь дурные пары и резвятся жалящие насекомые.

Место поддельной жизни и многие бумаги сделали Папалаги таким, каков он есть: слабым, заблудшим человеком, который любит то, чего нет на самом деле, а того, что есть, познать не может, который принимает отражение месяца за самый месяц, а исписанную циновку — за самую жизнь.

ТЯЖКАЯ БОЛЕЗНЬ ДУМАНИЯ.

Когда слово «дух» попадает на уста Папалаги, его глаза становятся большими, круглыми и неподвижными, он напрягает грудь, тяжело дышет и выпрямляется, как воин, поразивший врага. Ибо «дух» это — нечто, чем он особенно гордится. Здесь речь идет не о том великом, могучем Духе, которого миссионер называет богом, жалким подобием коего мы все являемся, но о маленьком духе, принадлежащем человеку и делающем его мысли.

Если я вижу отсюда манговое дерево позади миссионерского дома, то это еще не дух, потому что я его только вижу. Но когда я постигаю, что оно выше, чем миссионерская церковь, то это — дух. Поэтому я должен не только видеть что-нибудь, но и что-нибудь знать. В этом-то знании Папалаги и упражняется от восхода до заката. Его дух всегда — как заряженная «огненная трубка» или закинутая удочка. Он жалеет нас, народы со многих островов, потому что мы не упражняемся в знании. Мы, будто бы, нищие духом и глупы, как звери в чаще.

Это, действительно, правда, что мы мало упражняемся в знании или, как говорит Папалаги, «думаем». Но спрашивается, кто глуп: тот ли кто мало думает, или тот,

кто думает чересчур много? Папалаги думает непрерывно. «Моя хижина ниже, чем пальма». «Пальма гнется от бури». «Буря говорит громким голосом». В таком роде он думает, по-своему, разумеется. Но он думает и о себе самом. «Я — мал ростом». «Мое сердце всегда радостно при виде девушки». «Я очень люблю отправляться в „малага“». И так далее.

Это весело и хорошо и, пожалуй, не без скрытой пользы для того, кто любит такую игру в своей голове. Но Папалаги думает так много, что думание стало для него привычкой, необходимостью, настоящей неволей. Он постоянно обязан думать. Он лишь с трудом достигает того, чтобы не думать и жить всем телом сразу. Он чаще всего живет только головою, пока все его чувства спят глубоким сном. Хотя он при этом ходит, говорит, ест и смеется. Думание, мысли (это — плоды думания) держат его в плену. Это своего рода опьянение собственными мыслями. Если солнце красиво светит, он тотчас же подумает: «как красиво оно светит!» Он все время думает: «как красиво оно светит». Это — неправильно. В корне неправильно. Глупо. Ибо, когда оно светит, лучше вовсе не думать. Разумный самоанец вытягивает свои члены на теплом свете и ничего при этом не думает. Он вбирает в себя солнце не только головой, но и руками, ногами, бедрами, животом, всем телом. Он заставлял свою кожу и члены думать за себя. И они, без сомнения, тоже думают, хотя и на другой лад, чем голова. Но у Папалаги думание часто преграждает путь, как большой ком лавы, который он не в силах отвалить. Он думает весело, но не смеется при этом, он думает горестно, но не плачет при этом. Он голоден, но не хватается за таро или «полусами» ¹⁾. Он, по большей

¹⁾ Любимое блюдо самоанца.

части, человек, чувства которого живут во вражде с духом, человек, распадающийся надвое.

Жизнь Папалаги во многом напоминает человека, который едет в лодке на Савайи и, едва оттолкнувшись от берега, думает: «Сколько времени мне потребуется, чтобы добраться до Савайи? Он думает, но не видит приветливой местности, по которой пролегает его путь. Вот на левом берегу выступает мыс. Едва его глаз ухватил этот мыс, как уже не может от него оторваться. Что бы такое могло быть за мысом? Узкая или широкая бухта? За этими мыслями он забывает петь вместе с юношами песню гребцов; он не слышит веселых девичьих шуток. Едва бухта и мыс остались позади, как его уже терзает новая мысль: будет ли к вечеру буря? На ясном небе он ищет мрачных туч. Он все время думает о буре, которая могла бы налететь. Бури нет, и он к вечеру невредимым доезжает на Савайи. Но теперь он чувствует себя так, точно он вовсе не совершил путешествие, ибо его мысли все время были далеки от его тела и вне его лодки. Он с тем же успехом мог бы оставаться в своей хижине, на Уполу.

Но дух, который нас так мучает, это — Айту, и я не понимаю, за что бы я стал его любить. Папалаги же любит и чтит свой дух и питает его мыслями из своей головы. Он никогда не оставляет его голодным, но его не особенно смущает и то, что мысли порою поедают друг друга. Он производит большой шум своими мыслями и позволяет им галдеть, как беспризорным детям. Он держит себя так, точно его мысли столь же ценны, как цветы, горы и леса. Он говорит о своих мыслях, как будто в сравнении с ними ничего не стоит храбрость мужчины и веселость девушки. Он ведет себя так, точно где-то и впрямь существует такая заповедь, что человек должен много думать. Да, точно эта заповедь — от бога.

Когда пальмы и горы думают, они не производят шума. И несомненно что, если бы пальмы думали так же громко и дико, как Папалаги, то они не имели бы ни прекрасных зеленых листьев, ни золотых плодов. (Ибо прочно установлено опытом, что думание старит и безобразит). Они падали бы, не успев созреть. Но гораздо вероятнее, что пальмы очень мало думают.

К тому же, есть много видов и способов мышления и многообразные мишени для стрел духа. Печальна судьба мыслителей, думающих вдаль. «Как это будет, когда взойдет новая заря?» «Что сделает со мною Великий Дух, когда я приду в «Салефе'е»¹⁾? «Где я был, до того, как вестник Сагаола²⁾ подарили мне «агагу»³⁾? Это думание так же бесполезно, как если бы кто хотел видеть солнце с закрытыми глазами. Это — невозможно. И так же точно невозможно до дна вдуматься вдаль и в начало. Это испытали те, кто пробовали это сделать. Они с юношеских лет до зрелого возраста сидят на одном месте, как зимородки. Не видят ни солнца, ни обширного моря, ни возлюбленной девушки, ни радости... ничего, ровно ничего. Даже кава им больше не нравится, и во время пляски на деревенской площади они глядят в землю. Они не живут, хотя и не умерли. Тяжкая болезнь думания обуяла их.

Это думание яко бы делает голову большой и возвышенной. Если кто много и скоро думает, в Европе говорят: это — большая голова. Вместо того что бы пожалеть эти большие головы, им оказывают особые почести. Деревни делают их своими вождями, и, куда ни придет большая голова, она должна громко при людях думать,

¹⁾ Подземное царство самоанцев.

²⁾ Высший бог мифологических сказаний.

³⁾ Душа.

что доставляет всем большое наслаждение, и все дивятся этому. Когда большая голова умирает, то настает печаль по всей стране, и многие оплачивают то, что потеряно. Они изготовляют отражение умершей большой головы из камней от утесов и на глазах у всех водружают его на торговой площади. Они даже делают эти каменные головы еще больше, чем они были при жизни, чтобы народ мог восхищаться ими и помнить о собственной маленькой голове.

Если спросить у Папалаги: «Почему ты так много думаешь?» — он ответит: «Потому что я не хочу и не желаю остаться глупым». «Валеа»¹⁾ считается всякий Папалаги, который не думает. Хотя на самом деле он умен, раз он не думает и, все же, находит свою дорогу.

Но я думаю, что это только предлог и что Папалаги просто следует дурной страсти, что настоящая цель его думания — вывести силы Великого Духа. Действие, которое сам он называет благозвучным словом «познавать». «Познать» это значит держать какую-нибудь вещь так близко перед глазами, чтобы можно было толкнуть или даже проткнуть ее носом. Это протыкание и копание во всех вещах есть безвкусная и презренная страсть Папалаги. Он хватает сколопендру²⁾, прокалывает ее маленьким копьём, вырывает ей ногу. Чтобы знать, как выглядит такая нога отдельно от туловища? Как она была прикреплена к телу? Он разламывает ногу, чтобы измерить толщину. Это важно, это существенно. Он отрывает от ноги осколок величиной с песчинку и кладет его под длинную трубку, обладающую тайной силой и позволяющую глазам глядеть острее. Этим большим и сильным глазом он разглядывает все: твою слезу, кусочек

¹⁾ Глупым.

²⁾ Вид сороконожки.

твоей кожи, волос... все, все. Он разрезает все эти предметы, пока он доходит до такой точки, когда ничего уже нельзя различить и разрезать. Хотя эта точка всегда самая маленькая, все же, она, большею частью, самая существенная, ибо она — вход к высшему «познанию», которым обладает только Великий Дух.

Этот вход закрыт даже для Папалаги, и его наилучшие волшебные глаза не сумели еще заглянуть туда. Великий Дух никогда не позволит отнять у себя своих тайн. Никогда. Еще никто не вскарабкался выше, чем пальма, которая была между его ног. У вершины он должен был повернуть назад: ему не хватало ствола, чтобы влезть выше. Великий Дух не любит человеческого любопытства; поэтому он протянул над всеми вещами большие лианы, у которых нет ни начала, ни конца. И потому всякий, кто захочет точно проследить за всяким думанием, в конце концов, убедится, что он всегда остается в дураках и должен предоставить Великому Духу ответы, которых он сам себе не может дать. Мудрейшие и храбрейшие из Папалаги это признают. Несмотря на это, большинство больных думанием не отстают от своей привычки, а от этого происходит то, что думание так часто сбивает человека с пути, точно он идет по дремучему лесу, где еще не проложена ни одна тропинка. У них заходит ум за разум, и их чувства (как это в самом деле и есть), теперь уже не в силах отличить человека от зверя. Они утверждают, что человек — зверь, а зверь — человек.

А потому плохо и губительно, что все мысли, безразлично дурные или хорошие, точас же перебрасываются на тонкие, белые цыновки. «Они печатаются», говорит Папалаги. Это значит: все, что те больные передумают, — все будет написано машиной, весьма таинственной и чудодейственной, обладающей тысячей рук и силь-

ною волей многих великих вождей. И не один или два, а много раз, бесконечно много раз... все те же мысли. Затем много цыновок с мыслями сжимаются в кипы — «книгами» называет их Папалаги — и посылаются во все концы большой страны. Вскоре заражаются все, кто принимает в себя эти мысли. А они глотают эти цыновки с мыслями, как сладкие бананы; цыновки лежат в каждой хижине, ими наполняют целые лари; стар и млад гложут их, как крысы сахарный тростник. Оттого-то и происходит, что лишь немногие могут разумно мыслить, естественными мыслями, какие бывают у всякого истинного самоанца.

Таким же способом и детям запихивают в голову столько мыслей, сколько может влезть. Они принуждены ежедневно обглодать свою порцию цыновок с мыслями. Только самые здоровые отталкивают от себя эти мысли или дают им провалиться через свой дух, как сквозь сеть. Но большинство перегружает себе голову таким количеством мыслей, что в ней больше не остается места и никакой свет туда не проникает. Это называется: «образовать дух», а состояние такого безумия — «образованием», каковое распространено повсеместно.

Получить образование — это значит: до краев наполнить голову знанием. Образованный знает высоту пальмы, вес кокосового ореха, имена всех своих вождей и времена всех их войн. Он знает величину луны, звезд и всех стран. Он знает по имени каждую реку, каждого зверя и растение. Он знает все, все. Задай образованному вопрос, и он выстрелит в тебя ответом еще раньше, чем ты закроешь рот. Его голова всегда заряжена и готова к стрельбе. Всякий европеец отдает лучшую часть своей жизни, чтобы превратить свою голову в быстрейшую «огненную трубку». Кто хотел бы избежать этого,

того приневоливают. Всякий Папалаги должен знать, должен думать.

Единственное, что могло бы излечить всех этих больных думанием, это — забвение, отбрасывание мыслей; но в нем не упражняются. Большинство носит с собой в голове такую тяжесть, что их тело утомлено от тяжелой ноши и становится вялым и бессильным до срока.

Итак, должны ли мы, дорогие недумаящие братья, после всего того, что я здесь возвестил вам, в самом деле подражать Папалаги и учиться думать, как он? Я говорю: нет! Ибо мы не смеем делать ничего такого, что бы не делало нас сильнее телом, а наши чувства радостнее и лучше. Мы должны остерегаться всего, что пытается похитить у нас радость жизни, всего, что затемняет наш дух и отнимает его яркий свет, всего, что приводит нашу голову к войне с телом. Папалаги на себе самом доказывает, что думание есть тяжкая болезнь и на много уменьшает ценность человека.

ПАПАЛАГИ ХОЧЕТ, ВОВЛЕЧЬ НАС В СВОИ ПОТЕМКИ

Ничто меня так не тяготит и ничто не наполняет моего сердца большей печалью, дорогие дети многих островов, чем возвестить вам об этом. Но мы не должны и не хотим обманываться относительно Папалаги, чтобы он не втянул нас за собой в свои потемки. Он принес нам слово божье. Да. Но он сам не понял слова божия и его учения. Он понял его устами и головой, но не телом. Свет не проник в него, чтобы он мог отражать его и чтобы, куда он ни придет, все сияло бы от сияния его сердца, от света, который иначе называется любовью.

Он, правда, уже не чувствует этого разногласия между своим словом и своим телом. Но тебе легко узнать это по тому, что ни один Папалаги уже не может произнести слово «бог» от всего сердца. Он вытягивает лицо, точно он устал или точно ему дела нет до этого слова. Правда, все белые называют себя детьми божьими и заставляют мирских вождей подтвердить это письменно на белых цыновках. Но бог им все-таки чужд, хотя каждый слушал великое учение и каждый знает о боге. Даже те, которые предназначены для того, чтобы говорить о боге в больших, великолепных хижинах, выстроен-

ных в его честь, не имеют бога в себе, и их слово уносят ветер и великая пустота. Проповедники бога заполняют свои речи не богом: они говорят, как волны, ударяющие в утесы... Никто не слушает их, хотя они непрерывно бушуют.

Я могу сказать это, и бог на меня не прогневается: мы, дети островов, не были хуже, чем теперешний Папалаги, когда поклонялись огню и звездам. Папалаги живет в темноте и во зле, но именует себя сыном божьим и христианином и хочет убедить нас, что он — огонь, ибо носит пламя в руках.

Папалаги редко помышляет о боге. Только, когда буря подхватит его или его жизненный огонь угасает, тогда бог мешает ему и удерживает его от его странных радостей и удовольствий. Ибо ничего, кроме ненависти, алчности и вражды, не наполняет его. Его сердце стало большим, острым крючком, крючком, предназначенным только для грабежа, вместо того, чтобы быть светом, который прогоняет мрак и все освещает и согревает.

Христианином называет себя Папалаги. Быть христианином — это значит: питать любовь к великому богу и к своим братьям и только потом к себе самому. Любовь (т.е. хорошие поступки) должна быть в нас, как наша кровь, и слиться с нами, как голова и нога. Папалаги же носит слова «христианин» и «бог», и «любовь» только во рту. Он ударяет о них языком и делает много шума. Но его любовь и его сердце не склоняются перед богом, но только перед вещами, перед круглым металлом и тяжелой бумагой, перед думанием ради удовольствия, перед машиной, и не свет преисполняет его, а только глупости его профессии, дикая жадность к времени. Он охотнее пойдет десять раз в место поддельной жизни, чем один раз к богу, который — далеко-далеко.

Дорогие братья, у Папалаги сейчас больше идолов, чем когда-либо было у нас, если идол это то, чему мы молимся и кланяемся на ряду с богом и что носим, как любимейшее, в своем сердце. Бог не есть любимейшее в сердце Папалаги. И поэтому он творит не его волю, но волю Айту. Я говорю из своего ума, что Папалаги принес нам евангелие, как обменный товар, чтобы за это взять наши плоды и прекраснейшую часть нашей страны. Я подозреваю его в этом, ибо я открыл много грязи и греха в сердце Папалаги и знаю, что бог больше любит нас, чем его, называющего нас дикарями, т.-е. все равно что людьми, у которых звериные зубы и нет сердца в груди.

Но бог берет его глаза и раскрывает их, чтобы сделать его зрячим. Он сказал Папалаги: «Будь тем, чем ты хочешь быть. Я больше не даю тебе заповедей». И тогда белый пошел и обнаружил себя. О, стыд! О, ужас! Со звенящим языком и гордым словом отнял он у нас оружие, говорил вместе с богом «любите друг друга». А теперь? . . . О братья, вы слышали страшную весть о безбожном, безлюбном, мрачном событии: Европа режет себя. Папалаги взбесился. Один убивает другого. Все там — кровь и ужас, и погибель. Папалаги, наконец, сознался: «Во мне нет бога». Свет в его руке готов погаснуть. Мрак лежит на его пути; слышится только ужасающий шелест крыльев летучих собак и крики сов.

Братья, любовь к богу преисполняет меня и любовь к вам; поэтому бог дал мне мой маленький голос, чтобы сказать вам все то, что я сказал. Чтобы мы остались сильными в самих себе и не поддались проворному и хитрому языку Папалаги, — давайте впредь вытягивать вперед руки, когда он приближается к нам, и кричать ему: «Молчи ты, с твоим громким голосом; твои слова для нас —

шум прибой и шелест пальмы, но не более того, пока ты сам не приобретешь веселого, сильного лица и блестящих глаз, пока подобие божие не засияет из тебя, как солнце».

И затем мы поклянемся друг другу и закричим ему: «Отойди от нас с твоими радостями и удовольствиями, с твоей дикой погоней за богатством в руках и за богатством в голове, с твоей жаждой стать больше, чем твой брат, с твоим многим бессмысленным делением, с беспорядочной работой твоих рук, с твоим любопытным думанием и знанием, которое все же ничего не знает, — со всеми твоими глупостями, которые даже сон твой на цыновке делают беспокойным. Нам не нужно всего этого; мы довольствуемся благородными и прекрасными радостями, которые бог дал нам во множестве.

Перевел с немецкого
В. Л.

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Введение Эриха Шеурмана	7
О прикрытии плоти у Папалаги, о многих набедрен- никах его и цыновках	12
О каменных ларях, каменных скважинах, каменных островах и о том, что между ними	20
О круглом металле и тяжелой бумаге	27
Множество вещей делает Папалаги бедным	35
У Папалаги нет времени	42
Папалаги сделал бога бедным	47
Великий дух сильнее, чем машина	51
О профессиях Папалаги и как он в них запутывается	60
О месте поддельной жизни и о многих бумагах	67
Тяжкая болезнь думания	74
Папалаги хочет вовлечь нас в свои потемки	82

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Г. Д'Аннунцио	— „Ноктюрн“, ц. 1 р.
П. Бенуа	— „Атлантида“, роман, ц. 40 к.
„	— „Дорога гигантов“, ц. 75 к.
С. Бржозовский	— „Зарево“, роман из эпохи народоволь- цев, ц. 1 р. 25 к.
Г. Верфель	— „Человек из зеркала“, пьеса, ц. 60 к.
К. Гамсун	— „Соки земли“, роман, ц. 65 к.
Г. Гауптман	— „Зимняя баллада“, пьеса, ц. 33 к.
П. Гзель	— „Веселы А. Франса“, ц. 70 к.
О. Генри	— Рассказы, ц. 1 р.
„	— „Короли и капуста“, роман, ц. 90 к.
Г. Гольст	— „Лирические драмы“, ц. 45 к.
С. Лагерлев	— „Тюмы и люди“, рассказы, ц. 35 к.
Р. Маран	— „Батуала“, африканский роман.
К. Мейринк	— „Голем“, роман, ц. 70 к.
М. Маркс	— „Женщина“, роман, ц. 50 к.
М. Метерлиник	— „Белая невеста“, пьеса.
Дж. Мэйзфильд	— Пьесы.
Ж. Ромэн	— „Доногоо-Тонка“, кинематографический роман, ц. 25 к.
Р. Роллан	— „Кола Бреньон“, роман, ц. 70 к.
„	— „Пьер и Люс“, роман, ц. 35 к.
„	— „Клерамбо“, роман, ц. 1 р.
„	— „Аннет и Сильвия“, роман.
Дж. Синг	— „Герой“, пьеса, ц. 55 к.
Э. Синклэр	— „Сто процентов“, роман, ц. 75 к.
Г. Уэллс	— „Неугасимый огонь“, роман, ц. 40 к.
Ф. Унру	— „Род“, „Площадь“, пьесы.
А. Франс	— „Жизнь в цвету“, роман, ц. 80 к.
Л. Франк	— „Человек добр“, роман, ц. 65 к.
К. Штернгейм	— Четыре новеллы.
К. Эдшмид	— „Шесть притоков“, новеллы, ц. 60 к.
„	— „Тимур“, рассказы.
Экспрессионизм	— Сборник статей с иллюстрациями.

Цены обозначены в червонцах по курсу Госбанка.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ПЕЧАТАЕТСЯ:

В. Гёте	— „Поэзия и правда“, т. 2-й.
Г. Клейст	— Собрание сочинений, т. 3-й.
Стендаль	— „Пармский монастырь“.
Вольтер	— „Орлеанская дева“.
Сем. Бенелли	— „Избранные сочинения“.
Э. Синклер	— „Испытания любви“.
„	— „Ад“, пьеса.
М. Твэн	— „Приключения Тома“.
В. Гауф	— „Сказки“.
Дж. Конрад	— „Каприз Олмэйра“.
Монголо-ойратский эпос.	
Исе Моногатари	— Лирические повести древней Японии.
А. Струг	— „Деньги“, роман.
Ж. Дюамель	— „Полуночная исповедь“, роман.
Л. Фульда	— „Тень осла“, пьеса.
А. Ренье	— „Героические мечтания“, роман.
Р. Тагор	— Пьесы и стихи.
Д. Паппини	— „Конченный человек“, роман.

Торговый сектор Государственного Издательства:

МОСКВА, Ильинка, Биржевая площадь, Богоявленский пер., 4.

ПЕТРОГРАД, Проспект 25-го Октября (Невский), 28.

Магазины в Москве:

- 1) Советская площадь (под гост. „Дрезден“).
- 2) Моховая, 17 (под гост. „Националь“).
- 3) Больш. Никитская, 13 (здание консерватории).
- 4) Никольская ул., 3.
- 5) Серпуховская площадь 1/4з.
- 6) Кузнецкий мост, 12.

Магазины в Петрограде:

- 1) Проспект 25-го Октября (Невский), 28.
- 2) Проспект Володарского (Литейный), 21.
- 3) Проспект 25-го Октября, 13.
- 4) Проспект 25-го Октября, 68.